

Оноре де Бальзак

Сочинения



Оноре де Бальзак
Сочинения

«Public Domain»

Бальзак О.

Сочинения / О. Бальзак — «Public Domain»,

Оноре де Бальзак — один из величайших французских писателей 19 века, прозаик, который еще при жизни обладал огромной популярностью среди современников. Книга, предлагаемая вниманию читателя, включает избранные произведения французского прозаика из цикла «Человеческая комедия». Тут представлены «Пьер Грассу», «Отец Горио», а также замечательный роман «Беатриса». Цикл сочинений «Человеческая комедия» — неоценимый клад для любителей напряженной интриги, виртуозно вплетенной автором в канву произведений. Тонкие наблюдения из жизни французского общества, блестящее сочетание мастерского психологизма и лиричности сцен с почти детективным сюжетом, не оставят равнодушным даже самых взыскательных ценителей классической прозы.

Содержание

Пьер Грассу	5
Отец Горио	17
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Оноре де Бальзак

Человеческая комедия

(избранное)

Пьер Грассу

Всякий раз, как вы серьезно отправляетесь на выставку произведений скульптуры и живописи, как она устраивается начиная с революции 1830, то не испытываете ли вы чувства беспокойства, скуки, тоски, при виде длинных, сплошь заставленных галерей? С 1830 г., салон уже не существует. Лувр был вторично взят толпой художников, которые там и удержались. Некогда, допуская только избранные произведения искусства, салон приносил величайшую честь создателям в нем выставленным. Между двумястами избранных картин, публика делала свой выбор, венок присуждался лучшему произведению неведомыми руками. По поводу картин поднимались страстные споры. Брань, расточившаяся Делакруа, Энгру, столь же способствовала их известности, как и хвалы, и фанатизм их приверженцев. Теперь ни толпа, ни критика не относятся страстно к продуктам этого базара. Они принуждены сами делать тот выбор, который прежде был на обязанности экзаменационного жюри; их внимание утомляется этой работой, а когда она окончена, выставка уже закрыта. До 1817 принятые картины никогда не заходили дальше двух первых колонн длинной галереи, где помещены работы старинных мастеров, а в этом году они заняли все это пространство к великому удивлению публики. Историческая живопись, так называемый жанр, маленькие картины, пейзаж, живопись цветов и животных и акварель, эти восемь специальностей не могут дать более как по двадцати картин, достойных взоров публики, которая не в состоянии обратить внимание на большее количество произведений. Чем сильнее увеличивалось число артистов, тем разборчивее должна была бы становиться приемная комиссия. Все погубло с тех пор, как салон разросся до галереи. Салон должен бы остаться в определенном, ограниченном, с неумолимыми границами пространстве, где всякий род и выставлял бы свои лучшие произведения. Десятилетний опыт доказал пригодность прежнего устройства. Вместо турнира теперь свалка; вместо блестящей выставки шумный базар; вместо избранного – все. Что же происходит из этого? Большие артисты там теряются, *Турецкая кофейня*, *Деши у фонтана*, *Пытка крючьями* и *Иосиф*. Декана более бы способствовали его славе, будь они выставлены все четыре в большом салоне вместе со ста хорошими картинами того года, – чем его двадцать картин, затерянных между тремя тысячами других, скученных в шести галереях. Странно, что именно с тех пор, как дверь открыта для всех, сильно заговорили о непризнанных гениях. Когда двенадцать лет раньше, *Куртизанка* Энгра и такая же картина Сигалона, *Медуза Жерико*, *Сицилийская убийства* Делакруа, *Крестины Генриха IV* Евгения Девериа будучи приняты знаменитостями, обвиняемыми в зависти, доказали существование молодых и пылких художников, то не подымалось никаких жалоб. Теперь же, когда ничтожнейший пачкун может выставить свою картину, только и толку что о непонятых художниках! Там, где нет суждения, нет и обсуждаемого предмета. Что бы ни делали художники, а они возвратятся к комиссии, которая станет рекомендовать их произведения вниманию толпы, ради которой они работают. Без выбора академии, не будет салона, а без салона может погибнуть искусство.

С тех пор, как каталог превратился в толстую книгу, в него попадает много имен, остающихся неизвестными, несмотря на список десяти или двенадцати сопровождающих их картин. Между этими именами самое неизвестное, быть может, имя художника Пьера Грассу, уроженца Фужера, которого в артистическом мире зовут просто Фужер; ныне он человек замет-

ный и внушает те горькие размышления, которыми начинается очерк его жизни, равно приложимый к некоторым другим индивидуумам из породы артистов. В 1832 г., Фужер жил на Наваринской улице, на пятом этаже одного из тех узких и высоких домов, которые напоминают Луксорский обелиск; в таких домах есть аллея и узкая темная лестница с опасными поворотами; на каждом этаже полагается не более трех окон, а внутри имеется двор, или говоря точнее, квадратный колодезь. Над тремя или четырьмя комнатами, из которых состояла квартира Грассу из Фужера, находилась его мастерская, смотревшая на Монмартр. Окрашенная в кирпичный цвет мастерская, тщательно выкрашенный коричневой краской и натертый пол, маленький вышитый коврик у каждого стула, канапе, впрочем, простое, но чистое, как те, что стоят в спальнях жен овощных торговцев, все там обличало робкую жизнь мелочного человека и расчетливость бедняка. Тут стоял комод для разных принадлежностей мастерской, стол для завтрака, буфет, конторка, наконец, необходимые для живописи снаряды, и все содержалось в чистоте и порядке. Голландская печка оказывала услугу огромной мастерской, тем более заметную, что чистое и ровное освещение с северной стороны наполняло ее ясным и холодным светом. Фужер, простой жанрист, не нуждался в огромных приспособлениях, которые разоряют исторических живописцев; он никогда не чувствовал в себе на столько сил, чтобы пуститься в высокую область живописи и держался маленьких картинок. В начале декабря этого года, время когда парижским буржуа периодически приходит в голову шутовская мысль увековечивать свой и без того громоздкий образ, Пьер Грассу, встав рано, приготовил палитру, затопил печку, съел длинный сухарь с молоком, и ждал, чтобы начать работу, пока окна оттают и станут пропускать свет. День был сухой и ясный. В эту минуту, артист, завтракавший с тем покорным и терпеливым видом, который говорит о многом, услышал шаги человека, имевшего на его жизнь то влияние, какое подобного рода люди имеют почти на всех артистов, шаги Илиа Магуса, торговца картинами, ростовщика под залог картин. Действительно, Илиа Магус вошел в то мгновение, когда художник хотел приняться за работу в своей необыкновенно чистой мастерской.

– Как поживаете, старый плут? – сказал живописец.

У Фужера был крест, Илиа платил ему по двести и по триста франков за картину, и он вел себя с ним совсем по-художнически.

– Торговля плоха, – отвечал Илиа. – У всех у вас теперь такие претензии; чуть истратите на шесть су красок, сейчас требуете двести франков за картину... Но вы честный малый! Вы любите во всем порядок, и я пришел предложить вам хорошее дело.

– *Timeo Danaos et dona ferentes*, – сказал Фужер. – Вы знаете по латыни?

– Нет.

– Ну, так это значит, что греки не предлагают троянам хороших дел без выгоды для себя. Некогда они говорили: «возьмите моего коня! А теперь мы говорим: «возьмите мою вещь...» Чего же вы хотите Улисс-Илиа-Магус?

Эти слова показывают на меру кротости и остроумия, с которыми Фужер прибегал к тому, что художники зовут школьничеством мастерских.

– Я не говорю, что вы не нарисуете мне даром двух картинок.

– О, о!

– Я их не требую, и предоставляю это на ваше благоусмотрение. Вы честный артист.

– В чем дело?

– Ну, я сейчас вам приведу отца, мать и единственную дочь.

– Все единственные!

– Пожалуй, да... и требуется написать их портреты. Эти буржуа обожают искусство и доселе не отваживались войти ни в одну мастерскую. За дочкой сто тысяч франков приданого. Вы можете их отлично написать. Быть может, для вас они станут семейными портретами.

И старый деревянный немец, слывший за человека и называвшийся Илией Магусом, разразился тут сухим смехом, ужаснувшим художника. Ему показалось, будто он слышит, как Мефистофель говорит о женитьбе.

– За портреты заплатят по пятьсот франков за штуку; право, можно написать мне три картины.

– Конечно, – весело сказал Фужер.

– А если женитесь на дочке, то меня не забудете.

– Мне, жениться? – вскричал Пьер Грассу, – да я привык спать один, вставать рано и у меня все в порядке.

– Сто тысяч франков, – сказал Магус, – и девица нежная с золотистыми тонами, точно настоящий Тициан.

– А что это за люди?

– Бывший торговец; теперь же любитель искусств, владелец дачи в Вилль д'Авре, и от десяти до двенадцати тысяч дохода.

– А чем торговал?

– Бутылками.

– Молчите, мне кажется, я слышу, как режут пробки, и у меня зубы скрежещут.

– Приводить?

– Три портрета, я их выставлю, и могу заняться портретной живописью... хорошо, приводите.

Старый Илия отправился за семьей Вервеллей. Чтоб понять какое действие возымело на живописца это предложение, и какое впечатление должны были произвести на него сер и дама Вервелли в сопровождении единственной дочери, необходимо бросить взгляд на предыдущую жизнь Пьера Грассу из Фужера.

Фужер изучал рисунок у Сервена, который в академическом кружке считался великим рисовальщиком. От него он перешел к Шинне, чтоб постигнуть тайну великолепного и сильного колорита, свойственного этому мастеру. И учитель, и ученики там были скромны, и Пьер там ничего не перенял. Оттуда Фужер перешел в мастерскую Соммервье, чтоб ознакомиться с той частью искусства, которая зовется композицией, но композиция оказалась к нему немилостивой. Затем он пытался вырвать у Гранэ, Дешана тайну их эффектов в изображении домашних сцен. И у этих мастеров ему ничего не удалось похитить. Наконец Фужер окончил свое образование у Дюваль-Лакомю. В течение этого обучения и различных преобразований, Фужер вел себя скромно и тихо, – что давало повод в насмешкам в различных мастерских, где он работал; но всюду он обезоруживал товарищей своей скромностью, терпением и кротостью агнца. Профессора не питали никакого сочувствия к этому честному малому; профессора любят юношей блестящих, умы эксцентрические, шуточные, запальчивые, или мрачные и глубоко вдумчивые, которые говорят о будущем таланте. В Фужере все возмущало посредственность. Его прозвище Фужер, тоже что у живописца в пьесе Эглантина, было источником тысячи оскорблений; но в силу обстоятельств он назвался по городу, где увидел свет.

Грассу из Фужера походил на свое имя. Толстенький и среднего роста, с поблекшим цветом лица, он обладал карими глазами, черными волосами, носом в виде трубы, довольно широким ртом и длинными ушами. Его кроткий, страдальческий и покорный вид не прибавлял почти ничего к этим главным чертам его физиономии, полной здоровья, но неподвижной. Этот молодой человек, рожденный ради того, чтоб стать добродетельным буржуа, приехал с родины с целью сделаться правщиком у торговца красками, но превратил самого себя в живописца, единственно благодаря упрямству, которым отличаются бретонцы. Что он вынес, чем он только жил, пока был учеником, знает один Бог. Он вынес столько же, сколько выносят великие люди, когда их преследует бедность и за ними, как за диким зверем, гонится стая посредственностей и толпа честолюбцев, жаждущих мести. Как только Фужер почувствовал, что может летать на

собственных крыльях, он нанял мастерскую в улице Мучеников, и стал прилежно работать. Он дебютировал в 1819. Первая картина, которую он представил жюри для Луврской выставки, изображала деревенскую свадьбу, и была довольно жалкой копией с картины Греза. Картина не была принята. Узнав роковой приговор, он не впал в ярость, его не одолели те припадки эпилептического самолюбия, которым предаются люди надменные, и которые порою оканчиваются посылкой вызова на дуэль директору или секретарю музея, или угрозами убийства. Фужер спокойно взял картину, завернул ее в платок и понес в мастерскую, дав клятву, что делается великим живописцем. Он поставил картину на мольберт, и отправился к своему бывшему учителю, человеку громадного таланта, к Шинне, художнику кроткому и терпеливому, имевшему полный успех на последней выставке; он просил его прийти и разобрать его отвергнутое произведение. Великий живописец бросил все и отправился. Когда несчастный Фужер показал ему картину, Шинне, взглянув на нее, пожал руку Фужера.

– Ты славный малый, у тебя золотое сердце, и я не стану тебя обманывать. Слушай, ты достиг всего, что обещал учеником. Когда такие вещи выходят из-под кисти, милый мой Фужер, то лучше пусть уж краски лежат у Брюллона в магазине и не зачем отнимать холст у других. Вернись домой пораньше, надень бумажный колпак и ляг спать в девять часов; а завтра в десять отправляйся в какую-нибудь контору и попроси себе места, и оставь искусство в покое.

– Друг мой, – сказал Фужер, – моя картина уж подверглась осуждению, и я прошу от тебя не приговора, а объяснения причин.

– Ладно. Краски у тебя серые и темные, ты смотришь на натуру, точно сквозь креп; рисунок у тебя тяжелый, замазанный; твоя композиция – подражание Грезу, который искупал свои недостатки достоинствами, которых у тебя нет.

Указывая подробно на недостатки картины, Шинне заметил на лице Фужера выражение такого глубокого огорчения, что пригласил его обедать и старался утешить.

На следующий день с семи часов утра, Фужер уже сидел за мольбертом и переделывал отвергнутую картину; он исправлял ее согласно увязаниям Шинне, клал более живые краски, переписывал фигуры. Почувствовав отвращение к дальнейшей переделке, он снес картину к Илие Магусу. У Илие Магуса, помеси голландца, бельгийца и фламандца, было три причины сделаться тем, чем он стал: богачом и скупцом. Тогда он явился из Бордо в Париж, стал барышничать картинами и поселился на бульваре Благовещения. Фужер, рассчитывавший жить своей кистью, неустрасимо питался хлебом и орехами, или хлебом и молоком, или хлебом и вишнями, или хлебом и сыром, смотря по времени года. Илия Магус, которому Пьер принес первую картину, долго прищурясь рассматривал ее и дал за нее пятнадцать франков.

– С пятнадцатью франками дохода в год и с тысячью франков расхода можно пойти быстро и далеко, – улыбаясь сказал Фужер.

Илия Магус сделал движение, он кусал себе пальцы, раздумывая, что мог бы приобрести картину за сто су. В течение нескольких дней, всякое утро, Фужер отправлялся из улицы Мучеников, смешивался с толпой на бульваре, через улицу от лавки Магуса, и устремлял взор на свою картину, не привлекавшую к себе взоров прохожих. В конце недели картина исчезла. Фужер перешел улицу и направился к лавке торговца старинными вещами, притворяясь, будто гуляет без цели.

– Что ж, продали картину?

– Вот она, – отвечал Магус, – я заказал раму, чтоб иметь возможность предложить ее человеку, считающему себя знатоком в живописи.

Фужер больше не смел показываться на бульваре; он принялся за новую картину; он сидел за ней два месяца, питаясь как мышь и работая как каторжник.

Раз вечером он шел по бульвару; сами ноги роковым образом донесли его до лавки Магуса: его картины не было видно.

– Я продал вашу картину, – сказал торговец художнику.

– За сколько?

– Выручил свои с небольшим барышом. Рисуйте-ка мне семейные сцены из фламандской жизни, урок анатомии, пейзаж, и я стану покупать, – сказал Илия.

Фужер чуть не обнял Магуса, он смотрел на него как на отца. Он воротился домой с радостью в сердце; и так, великий Шинне ошибался! В огромном Париже нашлись сердца, которые бились в унисон с Грассу; его талант был понят и оценен. Бедный малый в двадцать семь лет был невинен как шестнадцатилетний мальчик. Другой художник, недоверчивый и суровый, заметил бы дьявольское выражение Илии Магуса; он увидел бы, как у него тряслась борода, иронию его усов и подергивание плеч, обнаружившие удовольствие Вальтер-Скотовского жида, обдувшего христианина. Фужер прогуливался по бульварам в такой радости, что его лицо получило гордое выражение. Он походил на гимназиста, покровительствующего женщине. Он встретил Жозефа Бридо, одного из своих товарищей, одного из эксцентрических талантов, осужденных на славу и несчастье. Жозеф Бридо, у которого, по его словам, было несколько су в кармане, повел Фужера в Оперу. Фужер не видел балета, не слышал музыки, – он сочинял картины, он рисовал. Он простился с Жозефом в середине вечера, и побежал домой, чтоб при лампе набросать эскизы; он придумал тридцать картин, напоминавших чужие, и почел себя за гения. На следующий же день, он накупил красок, разного размера полотна; он накупил хлеба, сыра, принес кружку воды, запасся дровами для печки, и затем принялся за работу; у него было несколько моделей, и Магус ссудил его материями для драпировок. После двухмесячного заключения, бретонец окончил четыре картины. Он снова обратился к Шинне за советом, присоединив к нему Жозефа Бридо. Оба живописца увидели в его картинах рабское подражание голландским пейзажам, жанрам Метцу, а в четвертой – копию с «Урока Анатомии» Рембрандта.

– Все подражания, – сказал Шинне. – Трудно Фужеру стать оригинальным.

– Тебе следует заняться чем-нибудь другим, только не живописью, – сказал Бридо.

– Чем же? – спросил Фужер.

– Пусть в литературу.

Фужер опустил голову, как овцы в дождь. Затем, он снова потребовал советов, снова получил их, и прошелся по картинам раньше, чем их отнести к Илии. Илия заплатил за каждую по двадцати пяти франков. При такой цене Фужер ничего не приобретал, но он не был в убытке, принимая во внимание его умеренность. Он предпринял несколько прогулок, чтоб узнать об участи своих картин, и испытал странную галлюцинацию. На его такие гладенькие и чистенькие картины, жёсткие, как натянутое полотно и блестящие как живопись на фарфоре, точно насел туман; они стали похожи на старинные картины. Илии не было в лавке, и Фужер не мог добиться разъяснения сказанного явления. Он подумал, что дурно рассмотрел их. Живописец опять засел в мастерской ради производства новых старинных картин. После семилетней усидчивой работы, Фужер достиг того что стал сочинять и исполнять сносные произведения. Он работал не хуже других второстепенных художников. Илия покупал и продавал картины бедного бретонца, который с великим трудом зарабатывал сотню луидоров в год, и тратил не более тысячи двухсот франков.

На выставке 1829, Леон де-Лора, Шинне и Бридо, каждый занимал много места; они стояли во главе художественного движения, и прониклись жалостью к упорству своего бедного бывшего товарища, они настояли, чтоб картина Фужера была принята на выставку и помещена в большом салоне. Эта картина, весьма интересная по сюжету, напоминавшая Виньерона по чувству, а по исполнению первую манеру Дюбюфа, изображала молодого человека, которому в тюрьме подбривают волосы на затылке. С одной стороны священник, с другой старуха и молодая женщина в слезах. Пристав читает гербовую бумагу. На жалком столе видно кушанье, до которого никто не дотрагивался. Свет проходил сквозь решетку высоко расположенного окна. Было чем привести в трепет буржуа, и буржуа затрепетали. Фужер просто-напросто вдохно-

вился прекрасной картиной Жерара Доу: он просто повернул группу *Женщины, умирающей от водяной* к окну вместо того, чтобы изобразить *en face*. Он заместил умирающую осужденным: та же бледность, тот же взгляд, тоже обращение к Богу. Вместо фламандского врача он нарисовал холодную и официальную фигуру одетого в черное пристава; но подле молодой девушки Жерара Доу добавил старуху. Наконец во всей группе выдавалось жестоко добродушное лицо палача. Такого весьма искусно прикрытого плагиата никто не заметил.

В каталоге стояло:

540. Грассу из Фужера (Пьер). Наваринская улица, 2.

Приготовление к казни шуана, осужденного на смерть в 1809.

Хотя и посредственная, картина имела громадный успех, потому что напоминала дело Мортонских поджигателей. Каждый день перед картиной собиралась толпа, пред ней остановился Карл X. Супруга старшего брата короля, узнав о страдальческой жизни бретонца, пришла в энтузиазм. Герцог Орлеанский приценивался к картине. Духовенство доложило жене дофина, что сюжет полон прекрасных мыслей; действительно от нее в достаточной степени веяло религиозным духом. Монсеньер дофин пришел в восторг от «Шили на полу», – грубая ошибка, потому что Фужер внизу стен нарисовал зеленоватые пятна, указывавшие на сырость. Супруга старшего брата короля купила картину за тысячу франков, дофин заказал для себя второй экземпляр. Карл X пожаловал крест сыну крестьянина, который некогда дрался за короля в 1799. Жозеф Бридо, великий живописец, не имел еще ордена. Министр внутренних дел заказал Фужеру две картины для церкви. Эта выставка дала Фужеру состояние, славу, будущность, жизнь. Изобретать что-либо – значит желать сгореть на медленном огне; копировать значит жить.

Открыв наконец-то золотоносную жилу, Грассу из Фужера отчасти осуществил эту жестокую истину, которой общество обязано тем, что позорным посредственностям ныне предоставляется избирать людей выдающихся во всех общественных классах; но они естественно избирают самих себя и ведут ожесточенную борьбу против настоящих талантов. Избирательный принцип, в приложении ко всему, ложен; Франция когда-нибудь опомнится. Тем не менее, скромность, простота и удивление доброго и кроткого Фужера заставили умолкнуть недовольство и зависть. Притом, за него были уже успевшие Грассу, солидарные с будущим Грассу. Некоторые, удивляясь энергии человека, которого ничто не могло обескуражить, вспоминали Доменикино, и говорили: «В искусствах надо поощрять волю. Грассу не украл своего успеха; ведь он, бедняжка, усердно трудился десять лет!» Это восклицание «бедняжка» было на половину причиной тех пожеланий и поздравлений, которые получал живописец. Жалость возвышает столько же посредственностей, сколько зависть принижает великих артистов. Газеты не скупилась на критики, но кавалер Фужер переносил их так же, как советы друзей, с ангельским терпением.

Получив около пятнадцати тысяч франков, добытых с таким трудом, он меблировал свою квартиру и мастерскую в Наваринской улице, и написал там картину, заказанную монсеньором дофином, и две картины для церкви, по заказу министерства, к условленному дню, с точностью, приведшую в отчаяние кассу министерства, привыкшего к иным порядкам. Но подивитесь счастью аккуратных людей! Опоздай Грассу, и ему, благодаря июльской революции, не заплатили бы. Тридцати семи лет от роду, Фужер приготовил для Илии Магуса около двухсот картин вполне неизвестных, но при помощи которых он достиг до такой сносной манеры, до такой высота исполнения, которая заставляет художника пожимать плечами и которую так любит буржуазия.

Друзья любили Фужера за честность, за неизменные чувства, за полную готовность помочь и за великую верность; если они не чувствовали никакого уважения к его кисти, то любили человека, державшего ее в руках.

– Как жаль, что Фужер предался пороку живописи! – говорили между собою его друзья.

Тем не менее Грассу давал превосходные советы подобно фельетонистам, неспособным написать книгу, но знающим чем грешат книги; но между литературными критиками и критиками Фужер существовала разница: он в высокой степени чувствовал красоты, он признавал их, и его советы отличались чувством справедливости, которая заставляла признавать правильность его замечаний.

С июльской революции Фужер представлял на всякую выставку с дюжину картин, из которых жюри принимало четыре, или пять. Он жил с самой строгой экономией, и вся его прислуга состояла из ключницы. Вместо развлечений, он посещал друзей, ходил осматривать художественные вещи, позволял себе небольшие поездки по Франции, и мечтал о том, чтобы отправиться в Швейцарию и поискать там вдохновения. Этот негодный художник был превосходным гражданином; он ходил в караул, являлся на парады, и с чисто буржуазной аккуратностью платил за квартиру и съестные припасы. Он век прожил в трудах и нужде, а потому ему некогда было любить. Он был до сих пор холостяком и бедняком, и не мечтал об усложнении своего столь простого существования. Будучи не в силах изобрести средства для увеличения своего состояния, он каждую четверть года относил свои сбережения и свой заработок нотариусу Кордо. Нотариус, когда у него скапливалось тысячу экю, принадлежащих Грассу, помещал их под первую закладную за поручительством жены, если заемщик был женат, или за поручительством продавца, если заемщик занимал под покупаемое имение. Нотариус сам получал проценты и присоединял их к частным взносам Грассу. Художник ждал вожаемого мгновения, когда его доход возрастет до двух тысяч франков, чтобы предоставить себе артистическое *otium cum dignitate* и приняться за картины, – о, за картины! но за настоящие картины! за картины вполне законченные, чудо картины, такие что в нос бьют! Его будущность, его мечта о счастье, высочайшее его желание, – знаете ли, в чем они заключались? в том, чтобы попасть в Академию и носить офицерскую розетку почетного легиона! Сидеть подле Шинне и Леона де-Лора, попасть в Академию раньше Бридо! ходить с ленточкой в петличке! Какая мечта! Только посредственность умеет подумать обо всем!

Услышав шум нескольких шагов по лестнице, Фужер поправил тупей, застегнул бархатную бутыльно-зеленого цвета куртку, и был немало изумлен, увидав лицо из тех, которые в мастерских зовутся попросту *дынями*. Этот фрукт сидел на тыкве, одетой в голубое сукно и украшенной множеством издававших звон брелочков. Дыня сопела как морская свинка, тыква двигалась на двух брюквах, неправильно именуемых ногами. Настоящий живописец вытурил бы маленького торговца бутылками, и немедленно выпроводил бы его за двери, объявив, что не пишет овощей. Фужер без смеха посмотрел на заказчика, ибо у г. Вервелля на рубашке красовался бриллиант в тысячу экю.

Фужер взглянул на Магуса, и сказал: *Толстосум!* употребляя слово, бывшее в то время в ходу в мастерских.

Услышав это г. Вервелль сморщил брови. За буржуа тянулись другие овощи в лице его жены и дочери. Лицо жены было разделано под красное дерево; она походила на стянутый по талии кокосовый орех, на который насажена голова. Она вертелась на ножках; платье на ней было желтое с черными полосами. Она гордо показывала митенки на пухлых руках, вроде перчаток на вывесках. Перья с похоронных дрог первого разряда развивались на нелепой шляпке. Кружева прикрывали плечи равно толстые как спереди, так и сзади; отчего сферическая форма кокоса являлась во всем совершенстве. Ноги, в том роде, который живописцы зовут *гусиными*, в башмаках из лакированной кожи с длинными гамашами. Как вошли ноги в башмаки? – неизвестно.

Следовала молодая спаржа, в зеленом с желтым платье, с маленькой головкой, с причесанными *en bandeau* волосами желто-морковного цвета, в которые влюбился бы римлянин; у нее были тоненькие руки, веснушки на довольно белой коже, большие наивные глаза с

белыми ресницами, чуточные брови, шляпа из итальянской соломы, обшитая белым атласом, с двумя изрядными атласными бантами, добродетельно красные ручки и ножки, как у маменьки. Эти три существа оглядывали мастерскую со счастливым видом, свидетельствующим об их почтительном энтузиазме к искусствам.

– Вы будете нас срисовывать? – спросил отец вызывающим тоном.

– Точно так, – отвечал Грассу.

– Вервелль, *у него* крест, – шепнула жена мужу, когда художник отвернулся от них.

– Да разве я заказал бы наши портреты живописцу без ордена? – сказал бывший торговец пробками.

Илия Магус раскланялся с семейством Вервеллей, и вышел; Грассу проводил его на лестницу.

– Только вы и могли выудить таких чучел.

– Сто тысяч приданого.

– Да, но за то и семья!

– Триста тысяч в будущем, дом в улице Бушера и дача в Виль-д'Аврэ.

– Бушера, бутылка, пробочник, пробки, – сказал живописец.

– За то будете жить в довольстве до конца дней своих, – сказал Илия.

Эта мысль осветила голову Пьера Грассу, как утренний свет его чердак. Усаживая отца молодой девицы, он нашел, что у него славное лицо, и восхищался тем, что на нем так много фиолетовых тонов. Мать и дочка вертелись вокруг живописца, восхищаясь всеми его приготовлениями; он им казался богом. Это видимое обожание нравилось Фужеру; от золотого тельца падал на эту семью волшебный отблеск.

– Вы должны зарабатывать бешеные деньги? – сказала мать, – но вы все и проживаете?

– Нет, – отвечал живописец, – я их не проживаю, у меня нет средств на то, чтоб жить в свое удовольствие. Мой нотариус помещает мои деньги, он ими заведует; передав ему деньги, я уже о них не забочусь.

– А мне говорили, – вскричал Вервелль, – будто живописцы – дырявые горшки.

– А кто ваш нотариус, если не секрет? – спросила г-жа Вервелль.

– Отличный, славный малый, Кардо.

– Э, э! вот так штука! Кардо и наш нотариус, – сказал Вервелль.

– Не шевелитесь, – сказал живописец.

– Сиди же смирно, Антидор, – сказала жена, – ты мешаешь художнику, а если б ты видел, как он работает, ты понял бы...

– Боже мой! Отчего вы меня не учили искусству? – сказала девица Вервелль своим родителям.

– Виржини, – вскричала мать, – молодой девушке не прилично учиться некоторым вещам. Когда ты выйдешь замуж... ну!.. а пока, потерпи.

В этот первый сеанс семья Вервеллей почти сблизилась с честным художником. Они условились, что явятся через два дня. Выходя, отец и мать велели Виржини идти вперед; но, не взирая на расстояние, она услышала следующие слова, которые не могли не возбудить ее любопытства:

– С орденом... тридцать семь лет... у него есть заказы, деньги он помещает у нашего нотариуса... Спросить Кардо... Гм! называться m-me де-Фужер!.. он человек, по-видимому, не дурной... Ты мне скажешь: за купца? Но выдав дочь за купца, пока он не оставил дел, еще нельзя сказать, что с ней станется! Между тем как бережливый художник... притом, мы любим искусства... Словом!..

В то время как семья Вервеллей разбирала Пьера Грассу, он сам разбирал семью Вервеллей. Он был не в силах сидеть спокойно в мастерской, он пошел погулять по бульвару, он рассматривал рыженьких, которые попадались на встречу! Он предавался самым странным раз-

мышлениям: золото самый лучший металл, желтый цвет – цвет золота, римляне любили рыжих, и он станет римлянином и т. д. Притом, через два года после женитьбы, кто заботится о цвете волос своей жены? Красота пропадает... но безобразие остается! Деньги половина счастья. Вечером, ложась спать, живописец уже считал Виржини Вервелль хорошенькой.

Когда, в день второго сеанса, вошли трое Вервеллей, артист встретил их любезной улыбкой. Негодный! он побрился, надел чистое белье; он мило причесался, он надел панталоны к лицу и красные туфли *a la roulaïne*. Семейство отвечало на его улыбку такой же лестной улыбкой. Виржини покраснела пуще своих волос, опустила глаза и, отвернувшись, начала рассматривать этюды. Пьер Грассу нашел ее кривлянья восхитительными. Виржина была грациозна; она по счастью не походила ни на отца, ни мать; на кого же она походила?

– А, понимаю! – говорил он про себя, – мамаша любовалась на красивого приказчика.

Во время сеанса, семья и художник слегка поспорили, и у живописца хватило смелости найти, что отец Вервелль остроумен. Эта лесть заставила всю семью скорым шагом проникнуть в сердце артиста, он подарил рисунок Виржини и эскиз матери.

– За даром? – спросили они.

Пьер Грассу не мог воздержаться от улыбки.

– Не следует так дарить картин: они денег стоят, – сказал ему Вервелль.

На третьем сеансе, отец Вервелль заговорил о прекрасной картинной галерее у себя на даче, в Виль-д'Аврэ: там есть Рубенс, Жерар Доу, Мьерис, Тербург, Рембрант, Поль Поттер, одна картина Тициана и т. д.

– Г. Вервелль наделал глупостей, – хвастливо сказала г-жа Вервелль, – он накупил картин на сто тысяч.

– Люблю искусство, – отозвался бывший торговец бутылками.

Когда был начат портрет г-жи Вервелль, портрет ее мужа был почти кончен, и восторгам семьи не было предела. Нотариус отозвался о живописце с величайшей хвалой. Пьер Грассу, по его словам, был честнейший малый на свете, один из самых порядочных артистов, вдобавок он скопил тридцать шесть тысяч франков; время нужды для него миновало, он получает ежегодно десять тысяч франков, он не проживает процентов; словом, его жена не может быть несчастна. Последняя фраза сильно накренила весы. Друзья Вервеллей только и слышали, что про славного живописца Фужера. В тот день, как Фужер начал портрет Виржини, он был уже *in petto* зятек Вервеллей. Все трое процветали в мастерской, которую привыкли считать одной из своих резиденций; это чистое, прибранное, милое артистическое помещение имело для них невыразимую привлекательность. *Abyssus abyssum*, буржуа притягивает буржуа.

С концу сеанса, лестница затряслась, и Жозеф Бридо с шумом отворил дверь; он влетел как буря, волосы у него развевались; показалась большая растерзанная фигура, повсюду, как молния, блеснул он глазами и, обойдя мастерскую, шумно подошел к Грассу, подбирая сюртук на животе, и стараясь, хотя и тщетно, застегнуть его, потому что пуговица отлетела.

– Дрова дороги, – сказал он Грассу.

– А!

– За мной гонятся англичане... Стой, ты пишешь этих?..

– Да замолчи же.

– Твоя правда.

Семейство Вервеллей было в высшей степени смущено этим странным видением, и лица у них, обыкновенно красные, стали вишнево-красными.

– Это выгодно! – сказал Жозеф. – А не отыщется ли у тебя не нужных бумажек?

– Много надо?

– Билет в пятьсот... За мной один из этих негоциантов бульдожьей породы, которые, как вцепятся, так не отпустят, пока не вырвут куса. И порода же!

– Я напишу сейчас записку к нотариусу.

– А у тебя есть нотариус?

– Да.

– В таком случае я понимаю, почему ты до сих пор рисуешь щеки розовыми тонами, превосходными для парикмахерских вывесок.

Грассу невольно покраснел: позировала Виржини.

– Бери натуру, какова она есть! – продолжал великий художник. – У девицы рыжие волосы. Что ж, разве это смертный грех? В живописи все великолепно. Положи на палитру киновари, напиши потеплей щеки, сделай на них коричневые крапинки, жизни поддай! Иль ты хочешь быть умней натуры?

– Возьми-ка, – сказал Фужер, – поработай, пока я напишу записку.

Вервелль докатился до стола и наклонился над ухом Грассу.

– Да этот мужлан напортит, – сказал купец.

– Если б он писал портрет вашей Виржини, то вышло бы в тысячу раз лучше моего, – с негодованием отвечал Грассу.

Услышав это, буржуа потихоньку отступил к своей жене, изумленной вторжением дикого зверя и несколько испугавшейся, что он принялся за портрет ее дочери.

– Слушай, следуй этим указаниям, – сказал Бридо, отдавая палитру и беря записку. – Я тебя не благодарю; теперь я могу воротиться в замок д'Артеза, где я расписываю столовую, а Леон де-Лора делает над дверьми чудные вещи. Приезжай посмотреть.

И он ушел не кланяясь: слишком уж наглядился он на Виржини.

– Кто это такой? – спросила г-жа Вервелль.

– Великий художник, – отвечал Грассу.

Небольшое молчание.

– Уверены ли вы, что он не принес несчастья моему портрету? – сказала Виржини, – он так напугал меня.

– Он принес только пользу, – отвечал Грассу.

– Если он великий художник, то, по-моему, лучше великие художники, которые похожи на вас.

– Ах, тапан, г. Грассу еще более великий художник, он меня напишет всю, – заметила Виржини.

Повадки гения взбудоражили этих привыкших к порядку буржуа.

Наступало то время осени, которое так мило зовут *летом св. Мартына*. С робостью неопита пред лицом гениального человека, Вервелль отважился пригласить Грассу приехать в ним на дачу в будущее воскресенье: он знал, как мало привлекательна буржуазная семья для художника.

– Ну, вы, художники! – говорил он, – вам требуются волнения, великолепные зрелища и умные люди; но у нас будут хорошие вина, и при том, я рассчитываю, что моя галерея вознаградит вас за скуку, какую артист, как вы, может испытывать в купеческой среде.

Это идолопоклонство чрезвычайно польстило самолюбию бедного Пьера Грассу, стол мало привыкшему к подобным любезностям. Этот честный артист, эта позорная посредственность, это золотое сердце, эта примерная жизнь, этот глупый рисовальщик, этот добрый малый, украшенный королевским орденом почетного легиона, отправился в поход, чтобы насладиться последними хорошими днями в году, в Виль-д'Авре. Живописец скромно поехал в общественной карете, и не мог не залюбоваться на красивую дачу купца, расположенную посреди парка в пять десятин, на холме, в самом красивом месте. Жениться на Виржини значило сделаться со временем владельцем этой дачи! Вервелли встретили его с восторгом, радостью, добродушием, с откровенной буржуазной глупостью, которые смутили его. То был день его торжества. Жениха повели гулять по усыпанному песком аллеям, которые были, как подобает, вычищены для приезда великого человека. Даже у деревьев был какой-то причесанный вид, трава была

скошена. В чистом деревенском воздухе слышался бесконечно возбуждающий запах кухни. Все в доме говорили: «У нас сегодня великий художник!» Бедняжка Вервелль точно яблоко катался по саду, дочка извивалась точно угорь, а мамаша следовала за ними благородной и важной походкой. Все трое не отходили от Пьера Грассу в течение семи часов. После обеда, которого длина не уступала его великолепию, г. и г-жа Вервелль прибегли к главному театральному эффекту, в открытию галереи, освещенной лампами с рассчитанным эффектом. Трое соседей, бывших торговцев, дядя с наследством, приглашенные ради чествования великого артиста, старая девица Вервелль и гости проследовали за Грассу в галерею, любопытствуя узнать его мнение о коллекции маленького Вервелля, который уничтожал их баснословной стоимостью картин. Торговец бутылками, по-видимому, вздумал соперничать с королем Луи-Филиппом и Версальскими галереями. Картины, в великолепных рамах, были снабжены золотыми ярлычками, где черными буквами стояло:

Рубенс.
Пляска фавнов и нимф.

Рембрандт.
Внутренность анатомического театра. Доктор Тромп читает лекцию ученикам.

Было всего полтораста картин, покрытых лаком, обметенных веничком; некоторые были задернуты зелеными занавесками, которых не отдвигали в присутствии девиц.

Артист стоял с опущенными руками, с открытым ртом, будучи не в силах произнести ни слова; в этой галерее он увидел половину своих картин; он был Рубенсом, Поль Паттером, Миерисом, Метцу, Жераром Доу! Он один был двумя десятками великих мастеров.

– Что с вами? – вы побледнели!

– Дочь, стакан воды! – вскричала мать Вервелль.

Живописец взялся за пуговицу фрака отца Вервелля, и отвел его в сторону под предлогом рассмотреть Мурилло. Испанские картины были тогда в моде.

– Вы купили картины у Илии Магуса?

– Да, все оригиналы.

– Между нами, сколько вы заплатили за те, на которые я укажу вам?

Они вдвоем обошли галерею. Гости были изумлены, с каким серьезным видом художник в сопровождении хозяина продолжал осмотр образцовых произведений.

– Три тысячи франков! – тихо сказал Вервелль, дойдя до последней картины, – а говорю, что сорок.

– Сорок тысяч франков за Тициана? – громко сказал художник, – да это задаром!

– Говорю же вам, что у меня на сто тысяч экю картин! – вскричал Вервелль.

– Я написал все эти картины, – сказал ему на ухо Пьер Грассу, – и за все вместе не получил и десяти тысяч франков...

– Докажите мне это, – сказал торговец бутылками, – и я удвою приданое моей дочери, потому что в таком случае вы – Рубенс, Рембрандт, Тербург, Тициан.

– А Магус отличный торговец картинами! – сказал живописец, поняв старинный вид своих картин и пользу сюжетов, которые заказывал ему торговец старинными вещами.

Г. де-Фужер, – ибо вся семья настойчиво звала так Пьера Грассу, – не только нисколько не потерял в уважении своего поклонника, но напротив возрос настолько, что даром написал семейные портреты и, понятно, поднес их своему тестю, теще и жене.

Теперь без Пьера Грассу не обходится ни одной выставки и в буржуазном мире он считается хорошим портретистом. Он зарабатывает двенадцать тысяч франков в год, и портит полотна на пятьсот франков. За женой он взял в приданое шесть тысяч франков дохода, и живет с тестем и тещей. Вервелли и Грассу живут в полном согласии, держат карету и счаст-

ливейшие люди на свете. Пьер Грассу не выходит из буржуазной среды, где почитается одним из величайших художников в мире. Между Тронной заставой и улицей Храма не пишется ни одного семейного портрета иначе, как у великого художника и за каждый платится не менее пятисот франков. Главная причина, почему буржуа держатся этого художника, следующая: «Говорите что хотите, а он каждый год помещает двадцать тысяч у нотариуса». В виду того, что Грассу показал себя с хорошей стороны в возмущении 12-го мая, ему пожалован офицерский крест почетного легиона. Он командир батальона национальной гвардии. Версальский музей не мог не заказать такому примерному гражданину батальной картины, и Грассу ходил по всему Парижу с целью встретить бывших товарищей и сказать им небрежным тоном: «А король заказал мне батальную картину!»

Г-жа де-Фужер обожает своего мужа; у них двое детей. Этот живописец, добрый муж и добрый супруг, не может, однако, отогнать от себя роковой мысли: художники над ним смеются, его имя – презрительное прозвище в мастерских, в фельетонах молчат о его произведениях. Но он все работает, и стремится в академию, и попадет туда. Затем месть бушует в его сердце! Он скупает у знаменитых художников картины, когда они в тесных обстоятельствах, и заменяет мазанья в галерее Виль-д'Авре истинно прекрасными произведениями, только не своими.

Существуют посредственности более несносные и злые чем Пьер Грассу, который вдобавок тайный благотворитель и человек в высшей степени обязательный.

Париж. Декабрь 1839.

Отец Горио

*Великому и знаменитому Жоффруа де Сент-Илеру¹ в знак
восхищения его работами и гением.
Де Бальзак*

Престарелая вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже лет сорок держит семейный пансион в Париже на улице Нев-Сент-Женевьев, что между Латинским кварталом² и предместьем Сен-Марсо.³ Пансион, под названием «Дом Воке», открыт для всех – для юношей и стариков, для женщин и мужчин, и все же нравы в этом почтенном заведении никогда не вызывали нареканий. Но, правду говоря, там за последние лет тридцать и не бывало молодых женщин, а если поселялся юноша, то это значило, что от своих родных он получал на жизнь очень мало. Однако в 1819 году, ко времени начала этой драмы, здесь оказалась бедная молоденькая девушка. Как ни подорвано доверие к слову «драма» превратным, неуместным и расточительным его употреблением в скорбной литературе наших дней, здесь это слово неизбежно: пусть наша повесть и не драматична в настоящем смысле слова, но, может быть, кое-кто из читателей, закончив чтение, прольет над ней слезу *intra* и *extra muros*.⁴ А будет ли она понятна и за пределами Парижа? В этом можно усомниться. Подробности всех этих сцен, где столько разных наблюдений и местного колорита, найдут себе достойную оценку только между холмами Монмартра и пригорками Монружа,⁵ только в знаменитой долине с дрянными постройками, которые того и гляди что рухнут, и водосточными канавами, черными от грязи; в долине, где истинны одни страдания, а радости нередко ложны, где жизнь бурлит так ужасно, что лишь необычайное событие может здесь оставить по себе хоть сколько-нибудь длительное впечатление. А все-таки порой и здесь встретишь горе, которому сплетение пороков и добродетелей придает величие и торжественность: перед его лицом корысть и себялюбие отступают, давая место жалости; но это чувство проходит так же быстро, как ощущение от сочного плода, проглоченного наспех. Колесница цивилизации в своем движении подобна колеснице с идолом Джагернаутом:⁶ наехав на человеческое сердце, не столь податливое, как у других людей, она слегка запнется, но в тот же миг уже крушит его и гордо продолжает путь. Вроде этого поступите и вы: взяв эту книгу холеной рукой, усядетесь поглубже в мягком кресле и скажете: «Быть может, это развлечет меня?», а после, прочтя про тайный отцовские невзгоды Горио, покушаете с аппетитом, бесчувственность же свою отнесете за счет автора, упрекнув его в преувеличении и осудив за поэтические вымыслы. Так знайте же: эта драма не выдумка и не роман. *All is true*,⁷ – она до такой степени правдива, что всякий найдет ее зачатки в своей жизни, а возможно, и в своем сердце.

¹ Жоффруа де Сент-Илер Этьен (1772–1844) – известный французский ученый-зоолог; выдвинул прогрессивную для своего времени научную теорию единства строения организмов животного мира. Посвящение романа «Отец Горио» Жоффруа де Сент-Илеру впервые появилось в издании 1843 г., однако теорией Жоффруа де Сент-Илера Бальзак живо интересовался еще с начала 30-х годов.

² Латинский квартал – район Парижа, где издавна находились высшие учебные заведения, музеи и библиотеки.

³ Сен-Марсо (иначе – Сен-Марсель) – квартал Парижа, населенный во времена Бальзака главным образом беднотой.

⁴ В черте города и в его предместьях (лат.).

⁵ Монмартр – во времена Бальзака – северная окраина Парижа. Монруж – южная. Местность в этих районах холмиста.

⁶ Джагернаут (правильнее – Джаганнатха, «владыка мира») – одно из изображений индийского бога Вишну. Во время главного праздника в честь Джагернаута его статуя вывозилась на огромной колеснице, в которую впрягались богомолыцы. Фанатики бросались под колесницу и погибали, – жрецы обещали им, что в награду за подобную смерть бедняк, при новом воплощении его души, обратится в человека высшей касты.

⁷ Все правда (англ.).

Дом, занятый под семейный пансион, принадлежит г-же Воке. Стоит он в нижней части улицы Нев-Сент-Женевьев, где местность, снижаясь к Арбалетной улице, образует такой крутой и неудобный спуск, что конные повозки тут проезжают очень редко. Это обстоятельство способствует тишине на улицах, запряганных в пространстве между Валь-де-Грас⁸ и Пантеоном,⁹ где эти два величественных здания изменяют световые явления атмосферы, пронизывая ее желтыми тонами своих стен и все вокруг омрачая суровым колоритом огромных куполов. Тут мостовые сухи, в канавах нет ни грязи, ни воды, вдоль стен растет трава; самый беспечный человек, попав сюда, становится печальным, как и все здешние прохожие; грохот экипажа тут целое событие, дома угрюмы, от глухих стен веет тюрьмой. Случайно зашедший парижанин тут не увидит ничего, кроме семейных пансионеров или учебных заведений, нищеты и скуки, умирающей старости и жизнерадостной, но вынужденной трудиться юности. В Париже нет квартала более ужасного и, надобно заметить, менее известного.

Улица Нев-Сент-Женевьев, – как бронзовая рама для картины, – достойна больше всех служить оправой для этого повествования, которое требует возможно больше темных красок и серьезных мыслей, чтобы читатель заранее проникся должным настроением, – подобно путешественнику при спуске в катакомбы, где с каждой ступенькой все больше меркнет дневной свет, все глуше раздается певучий голос провожатого. Верное сравнение! Кто решил, что более ужасно: взирать на черствые сердца или на пустые черепа?

Главным фасадом пансион выходит в садик, образуя прямой угол с улицей Нев-Сент-Женевьев, откуда видно только боковую стену дома. Между садиком и домом, перед его фасадом, идет выложенная щебнем неглубокая канава шириной в туаз,¹⁰ а вдоль нее – песчаная дорожка, окаймленная геранью, а также гранатами и олеандрами в больших вазах из белого с синим фаянса. На дорожку с улицы ведет калитка; над ней прибита вывеска, на которой значится: «ДОМ ВОКЕ», а ниже: Семейный пансион для лиц обоего пола и прочая. Днем сквозь решетчатую калитку со звонким колокольчиком видна против улицы, в конце канавы, стена, где местный живописец нарисовал арку из зеленого мрамора, а в ее нише изобразил статую Амура. Глядя теперь на этого Амура, покрытого лаком, уже начавшим шелушиться, охотники до символов, пожалуй, усмотрят в статуе символ той парижской любви, последствия которой лечат по соседству. На время, когда возникла эта декорация, указывает полустершаяся надпись под цоколем Амура, которая свидетельствует о восторженном приеме, оказанном Вольтеру при возвращении его в Париж в 1778 году:

Кто б ни был ты, о человек,
Он твой наставник, и навек.

К ночи вход закрывают не решетчатой дверцей, а глухой. Садик, шириной во весь фасад, втиснут между забором со стороны улицы и стеной соседнего дома, который, однако, скрыт сплошной завесой из плюща, настолько живописной для Парижа, что она привлекает взоры прохожих. Все стены, окружающие сад, затянуты фруктовыми шпалерами и виноградом, и каждый год их пыльные и чахлые плоды становятся для г-жи Воке предметом опасений и бесед с жильцами. Вдоль стен проложены узкие дорожки, ведущие под кущу лип, или липп, как г-жа Воке, хотя и родом де Конфлан, упорно произносит это слово, несмотря на грамматические указания своих нахлебников. Меж боковых дорожек разбита прямоугольная куртина с

⁸ Валь-де-Грас – здание военного госпиталя в Париже.

⁹ Пантеон – большое здание в Париже, построенное в XVIII в.; первоначально – церковь; во время буржуазной революции XVIII в. было превращено в усыпальницу выдающихся деятелей Франции, среди которых похоронены далеко не великие люди, как, например, президент Третьей республики Сади Карно, но не нашли себе места такие писатели, как Вольтер, и такие революционные деятели, как Марат, прах которых был удален из Пантеона.

¹⁰ Туаз – старинная французская мера длины (1 м. 945 мм).

артишоками, обсаженная щавелем, петрушкой и латуком, а по углам ее стоят пирамидально подстриженные плодовые деревья. Под сенью лип врыт в землю круглый стол, выкрашенный в зеленый цвет, и вокруг него поставлены скамейки. В самый разгар лета, когда бывает такое пекло, что можно выводить цыплят без помощи наседки, здесь распивают кофе те из постояльцев, кто достаточно богат, чтобы позволить себе эту роскошь.

Дом в четыре этажа с мансардой выстроен из известняка и выкрашен в тот желтый цвет, который придает какой-то пошлый вид почти всем домам Парижа. В каждом этаже пять окон с мелким переплетом и с жалюзи, но ни одно из жалюзи не поднимается вровень с другими, а все висят и вкривь и вкось. С бокового фасада лишь по два окна на этаж, при этом на нижних окнах красуются решетки из железных прутьев. Позади дома двор, шириною футов в двадцать, где в добром согласии живут свиньи, кролики и куры; в глубине двора стоит сарай для дров. Между сараем и окном кухни висит ящик для хранения провизии, а под ним проходит сток для кухонных помоев. Со двора на улицу Нев-Сент-Женевьев пробита маленькая дверца, в которую кухарка сгоняет все домашние отбросы, не жалея воды, чтобы очистить эту свалку, во избежание штрафа за распространение заразы.

Нижний этаж сам собою как бы предназначен под семейный пансион. Первая комната, с окнами на улицу и стеклянной входной дверью, представляет собой гостиную. Гостиная сообщается со столовой, а та отделена от кухни лестницей, деревянные ступеньки которой выложены квадратиками, покрыты краской и натерты воском. Трудно вообразить себе что-нибудь безотраднее этой гостиной, где стоят стулья и кресла, обитые волосяной материей в блестящую и матовую полоску. Середину гостиной занимает круглый стол с доской из чернокрапчатого мрамора, украшенный кофейным сервизом белого фарфора с потертой золотой каемкой, какой найдешь теперь везде. Пол настлан кое-как, стены обшиты панелями до уровня плеча, а выше оклеены глянцевыми обоями с изображением главнейших сцен из «Телемака», где действующие лица античной древности представлены в красках. В простенке между решетчатыми окнами глазам пансионеров открывается картина пира, устроенного в честь сына Одиссея нимфой Калипсо. Эта картина уже лет сорок служит мишенью для насмешек молодых нахлебников, воображающих, что, издеваясь над обедом, на который обрекает их нужда, они становятся выше своей участи. Камин, судя по неизменной чистоте пода, топится лишь в самые торжественные дни, а для красы на нем водружены замечательно безвкусные часы из синеватого мрамора и по бокам их, под стеклянными колпаками, – две вазы с ветхими букетами искусственных цветов.

В этой первой комнате стоит особый запах; он не имеет соответствующего наименования в нашем языке, но его следовало бы назвать *трактирным запахом*. В нем чувствуется затхлость, плесень, гниль; он вызывает содрогание, бьет чем-то мозглым в нос, пропитывает собой одежду, отдает столовой, где кончили обедать, зловонной кухмистерской, лакейской, кучерской. Описать его, быть может, и удастся, когда изыщут способ выделить все тошнотворные составные его части – особые, болезненные запахи, исходящие от каждого молодого или старого нахлебника. И вот, несмотря на весь этот пошлый ужас, если сравнить гостиную со смежною столовой, то первая покажется изящной и благоуханной, как будуар.

Столовая, доверху обшитая деревом, когда-то была выкрашена в какой-то цвет, но краска уже неразличима и служит только грунтом, на который наслоилась грязь, разрисовав его причудливым узором. По стенам – липкие буфеты, где пребывают шербатые и мутные графины, поддонники из жести со струйчатым рисунком, стопки толстых фарфоровых тарелок с голубой каймой изделие Турнэ.¹¹ В одном углу поставлен ящик с нумерованными отделениями, чтобы хранить, для каждого нахлебника особо, залитые вином или просто грязные салфетки. Тут еще встретишь мебель, изгнанную отовсюду, но несокрушимую и помещенную сюда, как

¹¹ Турнэ – промышленный город в Бельгии.

помещают отходы цивилизации в больницы для неизлечимых. Тут вы увидите барометр с капучином, вылезающим, когда дождь уже пошел; мерзкие гравюры, от которых пропадает аппетит, – все в лакированных деревянных рамках, черных с золочеными ложками; стенные часы, отделанные рогом с медной инкрустацией; зеленую муравленную печь; кенкеты Аргана,¹² где пыль смешалась с маслом; длинный стол, покрытый клеенкой настолько грязной, что весельчак-нахлебник пишет на ней свое имя просто пальцем, за наименьшем стилоса; искалеченные стулья, соломенные жалкие циновки – в вечном употреблении и без износа; затем дрянные грелки с развороченными продушинами, с обуглившимися ручками и сломанными петлями. Трудно передать, насколько вся эта обстановка ветха, гнила, щелиста, неустойчива, источена, крива, коса, увечна, чуть жива, – понадобилось бы пространное описание, но это затянуло бы развитие нашей повести, чего, пожалуй, не простят нам люди занятые. Красный пол – в щербинах от подкраски и натирки. Короче говоря, здесь царство нищеты, где нет намека на поэзию, нищеты потертой, скаредной, стущенной. Хотя она еще не вся в грязи, но покрыта пятнами, хотя она еще без дыр и без лохмотьев, но скоро превратится в тлен.

Эта комната бывает в полном блеске около семи часов утра, когда, предшествуя своей хозяйке, туда приходит кот г-жи Воке, вспрыгивает на буфеты и, мурлыча утреннюю песенку, обнюхивает чашки с молоком, накрытые тарелками. Вскоре появляется сама хозяйка, нарядившись в тюлевый чепец, откуда выбилась прядь накладных, неряшливо приколотых волос; вдова идет, пошмыгивая разношенными туфлями. На жирном потрепанном ее лице нос торчит, как клюв у попугая; пухлые ручки, раздобревшее, словно у церковной крысы, тело, чересчур объемистая, колыхающаяся грудь – все гармонирует с залой, где отовсюду сочится горе, где притаилась алчность и где г-жа Воке без тошноты вдыхает теплый смрадный воздух. Холодное, как первые осенние заморозки, лицо, окруженные морщинками глаза выражают все переходы от деланной улыбки танцовщицы до зловещей хмурости ростовщика, – словом, ее личность предопределяет характер пансиона, как пансион определяет ее личность. Каторга не бывает без надсмотрщика, – одно нельзя себе представить без другого. Бледная пухлость этой барыньки – такой же продукт всей ее жизни, как тиф есть последствие заразного воздуха больниц. Шерстяная вязаная юбка, вылезшая из-под верхней, сшитой из старого платья, с торчащей сквозь прорехи ватой, воспроизводит в сжатом виде гостиную, столовую и садик, говорит о свойствах кухни и дает возможность предугадать состав нахлебников. Появлением хозяйки картина завершается. В возрасте около пятидесяти лет вдова Воке похожа на всех женщин, выдавших виды. У нее стеклянный взгляд, безгрешный вид сводни, готовой вдруг раскипятиться, чтобы взять дорожку, да и вообще для облегчения своей судьбы она пойдет на все: предаст и Пишегрю и Жоржа,¹³ если бы Жорж и Пишегрю могли быть преданы еще раз. Нахлебники же говорят, что она в сущности баба неплохая, и, слыша, как она кричит и хнычет не меньше их самих, воображают, что у нее нет денег. Кем был г-н Воке? Она никогда не распространялась о покойнике. Как потерял он состояние? Ему не повезло, – гласил ее ответ. Он плохо поступил с ней, оставив ей лишь слезы, да этот дом, чтобы существовать, да право не сочувствовать ничьей беде, так как, по ее словам, она перестрадала все, что в силах человека.

Заслышав семенящие шаги своей хозяйки, кухарка, толстуха Сильвия, торопится готовить завтрак для нахлебников-жильцов. Нахлебники со стороны, как правило, абонировались только на обед, стоивший тридцать франков в месяц.

Ко времени начала этой повести пансионеров было семь. Второй этаж состоял из двух помещений, лучших во всем доме. В одном, поменьше, жила сама Воке, в другом – г-жа Кутюр, вдова интендантского комиссара времен Республики. С ней проживала совсем юная девица

¹² Кенкет Аргана усовершенствованная масляная лампа.

¹³ Пишегрю и Жорж. – Шарль Пишегрю и Жорж Кадудаль – организаторы роялистского заговора (1804), подготовившие покушение на Наполеона I, в то время первого консула; были выданы одним из соучастников заговора; Кадудаль был казнен, а Пишегрю умер в тюрьме.

Викторина Тайфер, которой г-жа Кутюр заменяла мать. Годовая плата за содержание обеих доходила до тысячи восьмисот франков в год. Из двух комнат в третьем этаже одну снимал старик по имени Пуаре, другую – человек лет сорока, в черном парике и с крашеными баками, который называл себя бывшим купцом и именовался г-н Вотрен. Четвертый этаж состоял из четырех комнат, из них две занимали постоянные жильцы: одну – старая дева мадмуазель Мишоно, другую – бывший фабрикант вермишели, пшеничного крахмала и макарон, всем позволявший называть себя папаша Горио. Остальные две комнаты предназначались для перелетных птичек, тех бедняков-студентов, которые, подобно мадмуазель Мишоно и папаше Горио, не могли тратить больше сорока пяти франков на стол и на квартиру. Но г-жа Воке не очень дорожила ими и брала их только за неимением лучшего: уж очень много ели они хлеба.

В то время одну из комнат занимал молодой человек, приехавший в Париж из Ангулема изучать право, и многочисленной семье его пришлось обречь себя на тяжкие лишения, чтоб высылать ему на жизнь тысячу двести франков в год. Эжен де Растиньяк, так его звали, принадлежал к числу тех молодых людей, которые приучены к труду нуждой, с юности начинают понимать, сколько надежд возложено на них родными, и готовят себе блестящую карьеру, хорошо взвесив всю пользу от приобретения знаний и приспособляя свое образование к будущему развитию общественного строя, чтобы в числе первых пожинать его плоды. Без пытливых наблюдений Растиньяка и без его способности проникать в парижские салоны повесть утратила бы те верные тона, которыми она обязана, конечно, Растиньяку, – его прозорливому уму и его стремлению разгадать тайны одной ужасающей судьбы, как ни старались их скрыть и сами виновники ее и ее жертва.

Над четвертым этажом находился чердак для сушки белья и две мансарды, где спали слуга по имени Кристоф и толстуха Сильвия, кухарка. Помимо семерых жильцов, у г-жи Воке столовались – глядя по году, однакоже не меньше восьми – студенты, юристы или медики, да два-три завсегдатая из того же квартала; они все абонировались только на обед. К обеду в столовой собиралось восемнадцать человек, а можно было посадить и двадцать; но по утрам в ней появлялось лишь семеро жильцов, причем завтрак носил характер семейной трапезы. Все приходили в ночных туфлях, откровенно обменивались замечаниями по поводу событий вчерашнего вечера, беседуя запросто, по-дружески. Все эти семеро пансионеров были баловнями г-жи Воке, с точностью астронома отмерявшей им свои заботы и внимание в зависимости от платы за пансион. Ко всем этим существам, сошедшимся по воле случая, применялась одна мерка. Два жильца третьего этажа платили всего лишь семьдесят два франка в месяц. Такая дешевизна, возможная только в предместье Сен-Марсо, между Сальпетриер¹⁴ и Бурб,¹⁵ где плата за содержание г-жи Кутюр являлась исключением, говорит о том, что здешние пансионеры несли на себе бремя более или менее явных злополучий. Вот почему удручающему виду всей обстановки дома соответствовала и одежда завсегдатаев его, дошедших до такого же упадка. На мужчинах – сюртуки какого-то загадочного цвета, обувь такая, какую в богатых кварталах бросают за ворота, ветхое белье, – словом, одна видимость одежды. На женщинах – вышедшие из моды, перекрашенные и снова выцветшие платья, старые, штопаные кружева, залоснившиеся перчатки, пожелтевшие воротнички и на плечах – дырявые косынки. Но если такова была одежда, то тело почти у всех оказывалось крепко сбитым, здоровье выдерживало натиск житейских бурь, а лицо было холодное, жесткое, полустертое, как изъятая из обращения монета. Увявшие рты были вооружены хищными зубами. В судьбе этих людей чувствовались драмы, уже законченные или в действии: не те, что разыгрываются при свете лампы,

¹⁴ Сальпетриер – парижская богадельня для старух, при которой имеется также лечебница для душевнобольных и нервных больных.

¹⁵ Бурб – бытовое название одного из родильных домов Парижа, (от слова «la boue» – грязь, тина).

в расписных холстах, а драмы, полные жизни и безмолвные, застывшие и горячо волнующие сердце, драмы, которым нет конца.

Старая дева Мишоно носила над слабыми глазами грязный козырек из зеленой тафты на медной проволоке, способный отпугнуть самого ангела-хранителя. Шаль с тощей плакучей бахромой, казалось, облекала один скелет, – так угловаты были формы, сокрытые под ней. Надо думать, что некогда она была красива и стройна. Какая же кислота стравила женские черты у этого создания? Порок ли, горе или скупость? Не злоупотребила ли она утехами любви, или была просто куртизанкой? Не искупала ли она триумфы дерзкой юности, к которой хлынули потоком наслаждения, старостью, пугавшей всех прохожих? Теперь ее пустой взгляд нагонял холод, неприятное лицо было зловеще. Тонкий голосок звучал, как стрекотание кузнечика в кустах перед наступлением зимы. По ее словам, она ухаживала за каким-то стариком, который страдал катаром мочевого пузыря и брошен был своими детьми, решившими, что у него нет денег. Старик оставил ей пожизненную ренту в тысячу франков, но время от времени наследники оспаривали это завещание, возводя на Мишоно всяческую клевету. Ее лицо, истрепанное бурями страстей, еще не окончательно утратило свою былую белизну и тонкость кожи, наводившие на мысль, что тело сохранило кое-какие остатки красоты.

Господин Пуаре напоминал собою какой-то автомат. Вот он блуждает серой тенью по аллее Ботанического сада: на голове старая помятая фуражка, рука едва удерживает трость с пожелтым набалдашником слоновой кости, выцветшие полы сюртука болтаются, не закрывая ни коротеньких штанов, надетых будто на две палки, ни голубых чулок на тоненьких трясущихся, как у пьяницы, ногах, а сверху вылезает грязная белая жилетка и топорщится заскорузлое жабо из дешевого муслина, отделяясь от скрученного галстука на индюшачьей шее; у многих, кто встречался с ним, невольно возникал вопрос: не принадлежит ли эта китайская тень к дерзкой породе сынов Иафета, порхающих по Итальянскому бульвару? Какая же работа так скрючила его? От какой страсти потемнело его шишковатое лицо, которое и в карикатуре показалось бы невероятным? Кем был он раньше? Быть может, он служил по министерству юстиции, в том отделе, куда все палачи шлют росписи своим расходам, счета за поставку черных покрывал для отцеубийц, за опилки для корзин под гильотиной, за бечеву к ее ножу. Он мог быть и сборщиком налога у ворот бойни или помощником санитарного смотрителя. Словом, этот человек, как видно, принадлежал к вьючным ослам на нашей великой социальной мельнице, к парижским Ратонам, даже не знающим своих Бертранов,¹⁶ был каким-то стержнем, вокруг которого вертелись несчастья и людская скверна, – короче, одним из тех, о ком мы говорим: «Что делать, нужны и такие!» Эти бледные от нравственных или физических страданий лица неведомы нарядному Парижу. Но Париж – это настоящий океан. Бросайте в него лот, и все же глубины его вам не измерить. Не собираетесь ли обозреть и описать его? Обозревайте и описывайте – старайтесь сколько угодно: как бы ни были многочисленны и пытливы его исследователи, но в этом океане всегда найдется область, куда еще никто не проникал, неведомая пещера, жемчуга, цветы, чудовища, нечто неслыханное, упущенное водолазами литературы. К такого рода чудищам относится и «Дом Воке».

Здесь две фигуры представляли разительный контраст со всей группой остальных пансионеров и нахлебников со стороны. Викторина Тайфер, правда, отличалась нездоровой белизной, похожей на бледность малокровных девушек; правда, присущая ей грусть и застенчивость, жалкий, хилый вид подходили к общему страдальческому настроению – основному тону всей картины, но лицо ее не было старообразным, в движениях, в голосе сказывалась живость. Эта юная горемыка напоминала пожелтый кустик, недавно пересаженный в неподходящую

¹⁶ Ратон и Бертран – персонажи басни Лафонтена «Обезьяна и кот»; в ней рассказывается, как хитрая обезьяна Бертран заставляет кота Ратона таскать для нее жареные каштаны из огня. В 1833 г. под заглавием «Бертран и Ратон» выпустил свою сатирическую комедию Э. Скриб.

почву. В желтоватости ее лица, в рыжевато-белокурых волосах, в чересчур тонкой талии проявлялась та прелесть, какую современные поэты видят в средневековых статуэтках. Исчерна-серые глаза выражали кротость и христианское смирение. Под простым, дешевым платьем обозначались девические формы. В сравнении с другими можно было назвать ее хорошенькой, а при счастливой доле она бы стала восхитительной: поэзия женщины – в ее благополучии, как в туалете – ее краса. Когда б веселье бала розоватым отблеском легло на это бледное лицо; когда б отрада изящной жизни округлила и поддурмянила слегка впалые щеки; когда б любовь одушевила эти грустные глаза, – Викторина смело могла бы поспорить красотой с любой, самой красивой, девушкой. Ей нехватало того, что женщину перерождает, – тряпок и любовных писем. Ее история могла бы стать сюжетом целой книги.

Отец Викторины находил какой-то повод не признавать ее своею дочерью, отказывался взять ее к себе и не давал ей больше шестисот франков в год, а все свое имущество он обратил в такие ценности, какие мог бы передать целиком сыну. Когда мать Викторины, приехав перед смертью к дальней своей родственнице вдове Кутюр, умерла от горя, г-жа Кутюр стала заботиться о сироте, как о родном ребенке. К сожалению, у вдовы интендантского комиссара времен Республики не было ровно ничего, кроме пенсии да вдовьего пособия, и бедная, неопытная, ничем не обеспеченная девушка могла когда-нибудь остаться без нее на произвол судьбы. Каждое воскресенье добрая женщина водила Викторину к обедне, каждые две недели – к исповеди, чтобы на случай жизненных невзгод воспитать ее в благочестии. И г-жа Кутюр была вполне права. Религиозные чувства открывали какое-то будущее перед этой отвергнутой дочерью, которая любила отца и каждый год ходила к нему, пытаясь передать прощенье от своей матери, но ежегодно натывалась в отцовском доме на неумолимо замкнутую дверь. Брат ее, единственный возможный посредник между нею и отцом, за все четыре года ни разу не зашел ее проведать и не оказывал ей помощи ни в чем. Она молила бога раскрыть глаза отцу, смягчить сердце брата и, не осуждая их, молилась за обоих. Для характеристики их варварского поведения г-жа Кутюр и г-жа Воке не находили слов в бранном лексиконе. В то время как они кляли бесчестного миллионера, Викторина произносила кроткие слова, похожие на воркованье раненого голубя, где и самый стон звучит любовью.

Эжен де Растиньяк лицом был типичный южанин: кожа белая, волосы черные, глаза синие. В его манерах, обращении, привычной выправке сказывался отпрыск аристократической семьи, в которой воспитание ребенка сводилось к внушению с малых лет старинных правил хорошего тона. Хотя Эжену и приходилось беречь платье, донашивать в обычные дни прошлогоднюю одежду, он все же иногда мог выйти из дому, одевшись как подобало молодому франту. А повседневно на нем был старенький сюртук, плохой жилет, дешевый черный галстук, кое-как повязанный и мятый, панталоны в том же духе и ботинки, которые служили уже свой второй век, потребовав лишь расхода на подметки.

Посредствующим звеном между двумя описанными личностями и прочими жильцами являлся человек сорока лет с крашеными бакенбардами – г-н Вотрен. Он принадлежал к тем людям, о ком в народе говорят: «Вот молодчина!» У него были широкие плечи, хорошо развитая грудь, выпуклые мускулы, мясистые, квадратные руки, ярко отмеченные на фалангах пальцев густыми пучками огненно-рыжей шерсти. На лице, изборожденном ранними морщинами, проступали черты жестокосердия, чему противоречило его приветливое и обходительное обращение. Не лишенный приятности высокий бас вполне соответствовал грубоватой его веселости. Вотрен был услужлив и любил посмеяться. Если какой-нибудь замок оказывался не в порядке, он тотчас же разбирал его, чинил, подтачивал, смазывал и снова собирал, приговаривая: «Дело знакомое». Впрочем, ему знакомо было все: Франция, море, корабли, чужие страны, сделки, люди, события, законы, гостиницы и тюрьмы. Стоило кому-нибудь уж очень пожаловаться на судьбу, как он сейчас же предлагал свои услуги; не раз ссужал он деньгами и самое Воке и некоторых пансионеров; но должники его скорей бы умерли, чем не вернули ему

долг, – столько страха вселял он, несмотря на добродушный вид, полным решимости, каким-то особенным, глубоким взглядом. Одна уж его манера сплевывать слюну говорила о таком невозмутимом хладнокровии, что, вероятно, он в критическом случае не остановился бы и перед преступлением. Взор его, как строгий судья, казалось, проникал в самую глубь всякого вопроса, всякого чувства, всякой совести. Образ его жизни был таков: после завтрака он уходил, к обеду возвращался, исчезал затем на целый вечер и приходил домой около полуночи, пользуясь благодаря доверию г-жи Воке запасным ключом. Один Вотрен добился такой милости. Он, правда, находился в самых лучших отношениях с вдовой, звал ее мамашей и обнимал а талию непонятая ею лезть! Вдова совершенно искренне воображала, что обнять ее простое дело, а между тем лишь у Вотрена были руки достаточной длины, чтобы обхватить такую грузную колоду. Характерная черта: он, не скупясь, тратил пятнадцать франков в месяц на «глюорию»¹⁷ и пил ее за сладким. Людей не столь поверхностных, как эта молодежь, захваченная вихрем парижской жизни, иль эти старики, равнодушные ко всему, что непосредственно их не касалось, вероятно заставило бы призадуматься то двойственное впечатление, какое производил Вотрен. Он знал или догадывался о делах всех окружающих, а между тем никто не мог постигнуть ни род его занятий, ни образ мыслей. Поставив, как преграду, между другими и собой показное добродушие, всегдашнюю любезность и веселый нрав, он временами давал почувствовать страшную силу своего характера. Нередко раздражался он сатирой, достойной Ювенала,¹⁸ где, казалось, с удовольствием осмеивал законы, бичевал высшее общество, уличал во внутренней непоследовательности, а это позволяло думать, что в собственной его душе живет злая обида на общественный порядок и в недрах его жизни старательно запрятана большая тайна.

Мадмуазель Тайфер делила свои украдчивые взгляды и потаенные думы между этим сорокалетним мужчиной и молодым студентом, по влечению, быть может безотчетному, к силе одного и красоте другого, но, видимо, ни тот и ни другой не думали о ней, хотя простая игра случая могла бы не сегодня завтра изменить положение Викторины и превратить ее в богатую невесту. Впрочем, среди всех этих личностей никто не давал себе труда проверить, сколько правды и сколько вымысла заключалось в тех несчастьях, на которые ссылался кто-либо из них. Все питали друг к другу равнодушие с примесью недоверия, вызванного собственным положением каждого в отдельности. Все сознавали свое бессилие облегчить удручавшие их горести и, обменявшись рассказами о них, исчерпали чашу сострадания. Как застарелым супругам, им уже не о чем было говорить. Таким образом, их отношения сводились только к внешней связи, к движению ничем не смазанных колес. Любой из них пройдет на улице мимо слепого нищего не обернувшись, без волнения прослушает рассказ о чьем-нибудь несчастье, а в смерти ближнего увидит лишь разрешение проблемы нищеты, которая и породила их равнодушие к самой ужасной агонии. Среди таких опустошенных душ счастливее всех была вдова Воке, царившая в этом частном странноприимном доме. Маленький садик, безлюдный в мороз, в зной и в слякоть, становившийся тогда пустынным, словно степь, ей одной казался веселой рощицей. Для нее одной имел прелесть этот желтый мрачный дом, пропахший, как прилавок, дешевой краской. Эти камеры принадлежали ей. Она кормила этих каторжников, присужденных к вечной каторге, и держала их в почтительном повиновении. Где еще в Париже нашли бы эти горемыки за такую цену сытную пищу и пристанище, которое в их воле было сделать если не изящным или удобным, то по крайней мере чистым и не вредным для здоровья? Позволь себе г-жа Воке вопиющую несправедливость – жертва снесет ее без ропота.

¹⁷ Глория – сладкий кофе (или чай) с коньяком.

¹⁸ Ювенал Децим Юний (I–II вв. н. э.) – римский поэт-сатирик, бичевавший в своих произведениях пороки господствующих классов современного ему императорского Рима.

В подобном соединении людей должны проявляться все составные части человеческого общества, – они и проявлялись в малом виде. Как в школах, как в разных кружках, и здесь, меж восемнадцати нахлебников, оказалось убогое, отверженное существо, козел отпущения, на которого градом сыпались насмешки. В начале второго года как раз эта фигура выступила перед Эженом Растиньяком на самый первый план изо всех, с кем ему было суждено прожить не менее двух лет. Таким посмешищем стал бывший вермишельщик, папаша Горио, а между тем и живописец и повествователь сосредоточили бы на его лице все освещение в своей картине. Откуда же взялось это чуть ли не злобное пренебрежение, это презрительное гонение, постигшее старейшего жильца, это неуважение к чужой беде? Не сам ли он дал повод, не было ли в нем странностей или смешных привычек, которые прощаются людьми труднее, чем пороки? Все эти вопросы тесно связаны со множеством общественных несправедливостей. Быть может, человеку по природе свойственно испытывать терпение тех, кто сносит все из простой покорности, или по безразличию, или по слабости. Разве мы не любим показывать свою силу на ком угодно и на чем угодно? Даже такое тщедушное создание, как уличный мальчишка, и тот звонит, когда стоят морозы, во все звонки входных дверей или взбирается на еще неиспачканный памятник и пишет на нем свое имя.

Папаша Горио, старик лет шестидесяти девяти, поселился у г-жи Воке в 1813 году, когда отошел от дел. Первоначально он снял квартиру, позднее занятую г-жой Кутюр, и вносил тысячу двести франков за полный пансион, словно платить на сто франков больше или меньше было для него безделицей. Г-жа Воке подновила три комнаты этой квартиры, получив от Горио вперед некоторую сумму для покрытия расходов, будто бы произведенных на дрянную обстановку и отделку: на желтые коленкоровые занавески, лакированные, обитые трипом кресла, на кое-какую подмазку клеевой краской и обои, отвергнутые даже кабаками городских предместьев. Быть может, именно потому, что папаша Горио, в ту пору именуемый почтительно господин Горио, поймался на эту удочку, проявив такую легкомысленную щедрость, на него стали смотреть, как на дурака, ничего не смыслящего в практических делах. Горио привез с собой хороший запас платья, великолепный подбор вещей, входящих в обиход богатого купца, который бросил торговать, но не отказывает себе ни в чем. Вдова Воке залюбовалась на полторы дюжины рубашек из *полуголландского* полотна, особенно приметных своей добротностью благодаря тому, что вермишельщик закалывал их мягкое жабо двумя булавками, соединенными цепочкой, а в каждую булавку был вправлен крупный бриллиант. Обычно он одевался в василькового цвета фрак, ежедневно менял пикейный белый жилет, под которым колыхалось выпуклое грушевидное брюшко, шевеля золотую массивную цепочку с брелоками. В табакерку, тоже золотую, был вделан медальон, где хранились чьи-то волосы, и это придавало Горио вид человека, повинного в любовных похождениях. Когда хозяйка обозвала его «старым волокитой», на его губах мелькнула веселая улыбка мещанина, польщенного в своей страстишке. Его «шкапки» (так выражался он по-простецки) были полны столовым серебром. У вдовы глаза так и горели, когда она любезно помогала ему распаковывать и размещать серебряные с позолотой ложки для рагу и для разливания супа, судки, приборы, соусники, блюда, сервизы для завтрака, – словом, вещи более или менее красивые, достаточно увесистые, с которыми он не хотел расстаться. Эти подарки напоминали ему о торжественных событиях его семейной жизни.

– Вот, – сказал он г-же Воке, вынимая блюдо и большую чашку с крышкой в виде двух целующихся горлинок, – это первый подарок моей жены в годовщину нашей свадьбы. Бедняжка! Она истратила на это все свои девичьи сбережения. И я, сударыня, скорее соглашусь рыть собственными ногтями землю, чем расстаться с этим. Благодаря бога, я в остаток дней своих еще попою утром кофейку из этой чашки. Жаловаться мне не приходится, у меня есть кусок хлеба, и надолго.

В довершение всего г-жа Воке заметила своим сорочьим глазом облигации государственного казначейства, которые, по приблизительным расчетам, могли давать этому замечатель-

ному Горио тысяч восемь-десять дохода в год. С того дня вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже достигшая сорока восьми лет от роду, но признававшая из них только тридцать девять, составила свой план. Несмотря на то, что внутренние углы век у Горио вывернулись, распухли и слезились, так что ему довольно часто приходилось их вытирать, она находила его наружность приятной и вполне приличной. К тому же его мясистые, выпуклые икры и длинный широкий нос предвещали такие скрытые достоинства, которыми вдова, как видно, очень дорожила, да их вдобавок подтверждало лунообразное, наивно простоватое лицо папаши Горио. Он представлялся ей крепышом, способным вложить всю душу в чувство. Волосы его, расчесанные на два «крылышка» и с самого утра напудренные парикмахером Политехнической школы, приходившим на дом, вырисовывались пятью фестонами на низком лбу, красиво окаймляя его лицо. Правда, он был слегка мужиковат, но так подтянут, так обильно брал табак из табакерки и нюхал с такой уверенностью в возможность и впредь сколько угодно наполнять ее макубой,¹⁹ что в день переезда Горио, вечером, когда Воке улеглась в постель, она, как куропатка, обернутая шпиком, румянилась на огне желанья проститься с саваном Воке и возродиться женою Горио. Выйти замуж, продать пансион, пойди рука об руку с этим лучшим представителем заточного мещанства, стать именитой дамой в своем квартале, собирать пожертвования на бедных, выезжать по воскресеньям в Шуази, Суази и Жантильи; ходить в театр, когда захочешь, брать ложу, а не дожидаться контрамарок, даримых кое-кем из пансионеров в июле месяце, – все это Эльдорадо²⁰ парижских пошленьких семейных жизней стало ее мечтой. Она не повеяла никому, что у нее есть сорок тысяч франков, накопленных по грошу. Разумеется, в смысле состояния она себя считала приличной партией.

«А в остальном я вполне стою старикана», – подумала она и повернулась на другой бок, будто удостовераясь в наличии своих прелестей, оставлявших глубокий отпечаток на перине, как в этом убеждалась по утрам толстуха Сильвия.

С этого дня в течение трех месяцев вдова Воке пользовалась услугами парикмахера г-на Горио и сделала кое-какие затраты на туалет, оправдывая их тем, что ведь нужно придать дому достойный вид, в соответствии с почтенными особами, посещавшими пансион. Она всячески старалась изменить состав пансионеров и всюду трезвонила о своем намерении пускать отныне лишь людей, отменных во всех смыслах. Стоило постороннему лицу явиться к ней, она сейчас же начинала похвально, что г-н Горио – один из самых именитых и уважаемых купцов во всем Париже, а вот оказал ей предпочтение. Г-жа Воке распространила специальные проспекты, где в заголовке значилось: «ДОМ ВОКЕ». И дальше говорилось, что «это самый старинный и самый уважаемый семейный пансион Латинского квартала, из пансиона открывается наиприятнейший вид (с четвертого этажа!) на долину Гобеленовой мануфактуры, есть *миленький сад*, а в конце его *простирается* липовая аллея». Упоминалось об уединенности и хорошем воздухе. Этот проспект привел к ней графиню де л'Амбермениль, женщину тридцати шести лет, ждавшую окончания дела о пенсии, которая ей полагалась как вдове генерала, павшего на полях битвы. Г-жа Воке улучшила свой стол, почти шесть месяцев отапливала общие комнаты и столь добросовестно сдержала обещания проспекта, что *доложила еще своих*. В результате графиня, называя г-жу Воке дорогим другом, обедала переманить к ней из квартала Марэ²¹ баронессу де Вомерланд и вдову полковника графа Пикүазо, двух своих приятельниц, доживавших срок в пансионе более дорогим, чем «Дом Воке». Впрочем, эти дамы будут иметь большой достаток, когда военные канцелярии закончат их дела.

– Но канцелярии все тянут без конца, – говорила она.

¹⁹ Макуба – высокосортный табак, вывозимый из Макубы (о-в Мартиника).

²⁰ Эльдорадо – легендарная страна с огромными запасами золота, якобы находящаяся в Южной Америке и открываемая испанскими авантюристами в XVI в. Название «Эльдорадо» стало символом баснословного богатства.

²¹ Марэ – квартал Парижа, застроенный в XVIII в. особняками крупных чиновников; после буржуазной революции XVIII в. получил торгово-промышленный характер и был заселен по преимуществу ремесленным и торговым людом.

После обеда обе вдовы уединялись в комнате самой Воке, занимались там болтовней, попивая черносморородинную наливку и вкушая лакомства, предназначенные только для хозяйки. Графиня де л'Амбермениль очень одобряла виды хозяйки на Горио, виды отличные, о которых, кстати сказать, она догадалась с первого же дня, и находила, что Горио – мужчина первый сорт.

– Ах, дорогая! – говорила ей вдова Воке. – Этот мужчина свеж, как яблочко, прекрасно сохранился и еще способен доставить женщине много приятного.

Графиня великодушно дала кое-какие указания г-же Воке по поводу ее наряда, не соответствовавшего притязаниям вдовы.

– Надо вас привести в боевую готовность, – сказала она ей.

После долгих вычислений обе вдовы отправились в Пале-Рояль и в Деревянной галлерее купили шляпку с перьями и чепчик. Графиня увлекла свою подругу в магазин «Маленькая Жената», где они выбрали платье и шарф. Когда это боевое снаряжение пустили в дело и вдовушка явилась во всеоружии, она была поразительно похожа на вывеску «Беф а ля мод».²² Тем не менее сама она нашла в себе такую выгодную перемену, что сочла себя обязанной графине и преподнесла ей шляпку в двадцать франков, хотя и не отличалась тароватостью. Правду говоря, она рассчитывала потребовать от графини одной услуги, а именно – выпросить Горио и показать ее, Воке, в хорошем свете. Графиня де л'Амбермениль весьма по-дружески взялась за это дело, начала обхаживать старого вермишельщика и, наконец, добилась беседы с ним; но в этом деле она руководилась желаньем соблазнить вермишельщика лично для себя; когда же все покушения ее натолкнулись на застенчивость, если не сказать – отпор, папаши Горио, графиня возмутилась неотесанностью старика и вышла.

– Ангел мой, от такого человека вам ничем не поживиться! – сказала она своей подруге. – Он недоверчив до смешного; это дурак, скотина, скряга, и, кроме неприятности, ждать от него нечего.

Между графиней де л'Амбермениль и г-ном Горио произошло нечто такое, после чего графиня не пожелала даже оставаться с ним под одной кровлей. На другой же день она уехала, забыв при этом уплатить за полгода своего пребывания в пансионе и оставив после себя хлам, оцененный в пять франков. Как ни ретиво взялась за розыски г-жа Воке, ей не удалось получить в Париже никакой справки о графине де л'Амбермениль. Она часто вспоминала об этом печальном происшествии, плакалась на свою чрезмерную доверчивость, хотя была недоверчивее кошки; но в этом отношении г-жа Воке имела сходство со многими людьми, которые не доверяют своим близким и отдаются в руки первого встречного, – странное психологическое явление, но оно факт, и его корни нетрудно отыскать в самой человеческой душе. Быть может, некоторые люди не в состоянии ничем снисказать расположение тех, с кем они живут, и, обнаружив перед ними всю пустоту своей души, чувствуют, что окружающие втайне выносят им заслуженно суровый приговор; но в то же время такие люди испытывают непреодолимую потребность слышать похвалы себе, – а как раз этого не слышно, или же их сдает страстное желанье показать в себе достоинства, каких на самом деле у них нет, и ради этого они стремятся завоевать любовь или уважение людей им посторонних, рискуя пасть когда-нибудь и в их глазах. Наконец есть личности, своекорыстные по самой их природе: ни близким, ни друзьям они не делают добра по той причине, что это только долг; а если они оказывают услуги незнакомым, они тем самым поднимают себе цену; поэтому чем ближе стоит к ним человек, тем меньше они его любят; чем дальше он от них, тем больше их старанье услужить. И, несомненно, в г-же Воке соединились обе эти натуры, по самому существу своему мелкие, лживые и гадкие.

²² «Беф а ля мод» – буквально: «говядина, приготовленная по моде», мясное блюдо; на вывеске одного из парижских ресторанов, носившего это название, был нарисован бык в модной дамской шляпке и в шали.

– Будь я тогда здесь, – говаривал Вотрен, – с вами не приключилось бы такой напасти. Я бы вывел эту пройдоху на свежую воду. Их штучки мне знакомы.

Как все ограниченные люди, г-жа Воке обычно не выходила из круга самих событий и не вдавалась в их причины. Свои ошибки она охотно валила на других. Когда ее постиг этот убыток, то для нее первопричиной такого злключения оказался честный вермишельщик; с той поры у нее, как говорила она, раскрылись на него глаза. Уразумев всю тщету своих заигрываний и своих затрат на благолепие, она без долгих дум нашла причину этой неудачи. Она заметила, что Горио имел, по выражению ее, свои замашки. Словом, он показал ей, что ее любовно лелеемые надежды покоились на химерической основе и от такого человека ей ничем не поживиться, как энергично выразилась графиня, видимо знаток в этих делах. В своей неприязни г-жа Воке, конечно, зашла гораздо далее, чем в дружбе. Сила ее ненависти соответствовала не былой любви, а обманутой надежде. Человеческое сердце делает передышки при подъеме на высоты добрых чувств, но на крутом уклоне злобных чувств задерживается редко. Однако Горио был все-таки ее жильцом, а следовательно, вдвое пришлось тушить вспышки оскорбленного самолюбия, сдерживать вздохи, вызванные таким разочарованием, и подавлять жажду мести, подобно монаху, который вынужден терпеть обиды от игумена. Души мелкие достигают удовлетворения своих чувств, дурных или хороших, бесконечным рядом мелких поступков. Вдова, пустив в ход все женское коварство, стала изобретать тайные гонения на свою жертву. Для начала она урезала все лишнее, что было ею введено в общий стол.

– Никаких корнишонов, никаких анчоусов: от них один убыток! – объявила она Сильвии в то утро, когда решила вернуться к прежней своей программе.

Господин Горио был человек скромных потребностей, и скопидомство, неизбежное для тех, кто сам создает себе богатство, вошло у него уже в привычку. Суп, вареная говядина, какое-нибудь блюдо из овощей всегда были и остались излюбленным его обедом. Поэтому задача извести такого нахлебника, ущемляя его вкусы, оказалась нелегким делом для г-жи Воке. В отчаянии, что ей пришлось столкнуться с неуязвимым человеком, она стала выказывать неуважение к нему, тем самым внушая свою неприязнь к Горио другим пансионерам, а те ради забавы способствовали ее мести.

К концу первого года вдова дошла до такой степени подозрительности, что задавала себе вопрос: отчего этот купец, при его доходе в семь-восемь тысяч ливров, с его превосходным столовым серебром и красивыми, как у содержанки, драгоценностями, все-таки жил у нее и, несоответственно с состоянием, так скупно тратился на свой пансион? В течение большей части первого года Горио нередко, раз или два в неделю, обедал в другом месте, затем мало-помалу стал обедать вне пансиона только два раза в месяц. Отлучки г-на Горио удачно совпадали с выгодами г-жи Воке, а когда жилец начал все чаще и чаще обедать дома, такая исправность не могла не вызвать неудовольствия хозяйки. Эти перемены были приписаны не только денежному оскудению Горио, но и его желанию насолить своей хозяйке. Гнуснейшая привычка карликовых умов приписывать свое духовное убожество другим. К несчастью, к концу второго года Горио оправдал все пересуды в отношении себя, попросив г-жу Воке перевести его на третий этаж и сбавить плату за пансион до девятисот франков. Ему пришлось так строго экономить, что он перестал топить зимою. Вдова Воке потребовала, чтобы ей было заплачено вперед, на что и получила согласие г-на Горио, которого все же с той поры стала звать «папаша Горио».

О причинах этого падения строили догадки все кому не лень. Дело трудное. Как говорила лжеграфиня, папаша Горио был скрытен, себе на уме. По логике людей пустоголовых, всегда болтливых, потому что, кроме пустяков, им нечего сказать, всякий, кто не болтает о своих делах, очевидно, занимается зловерными делами. Так «именитый купец» превратился в мазурика, а «волокита» – в старого шута. Папаша Горио то оказывался человеком, который забегал на биржу и там, по энергичному выражению финансового языка, *пощипывал на ренте*, после того, как разорился на большой игре, – такова была версия Вотрена, поселившегося тогда

в «Доме Воке»; а то он был одним из мелких игроков, что каждый вечер ставят на счастье и выигрывают франков десять. То из него делали шпиона тайной полиции, – но, по уверению Вотрена, Горио был недостаточно хитер, чтобы *достигнуть этого*. Кроме того, папаша Горио был также скрягой, ссужившим под высокие проценты на короткий срок, и лотерейным игроком, игравшим на «сквозной» номер. Он превращался в какое-то весьма таинственное порождение бесчестья, немощи, порока. Однакоже, как ни были гнусны его пороки или поведение, неприязнь к нему не доходила до того, чтобы его изгнать: за пансион-то он платил. К тому же от него была и польза: каждый, высмеивая или задирая его, изливал свое хорошее или дурное настроение.

Мнение г-жи Воке казалось наиболее правдоподобным и получило общее признание. По ее словам, этот «хорошо сохранившийся и свежий, как яблочко, мужчина, еще способный доставить женщине много приятного», был просто-напросто распутник со странными наклонностями. И вот какими фактами обосновала г-жа Воке эту клевету.

Несколько месяцев спустя после отъезда разорительной графини, сумевшей просуществовать полгода за счет хозяйки, г-жа Воке однажды утром, еще не встав с постели, услышала на лестнице шуршанье шелкового платья и легкие шаги молодой, изящной женщины, проскользнувшей к Горио в заранее растворенную дверь. Толстуха Сильвия сейчас же пришла сказать своей хозяйке, что некая девица, чересчур красивая, чтобы быть честной, *одетая, как божество*, в прюнелевых ботинках, совсем не запыленных, скользнула, точно угорь, с улицы к ней на кухню и спросила, где квартирует господин Горио. Вдова Воке вместе с кухаркой стали подслушивать и уловили кое-какие нежные слова, сказанные во время этого довольно продолжительного посещения. Когда же г-н Горио вышел проводить свою даму, толстуха Сильвия надела на руку корзинку, как будто бы отправилась на рынок, и пошла следом за любовной парочкой.

– Сударыня, – сказала она вернувшись, – а, надо быть, господин Горио богат чертовски, коли ничего не жалеет для своих красоток. Верите ли, на углу Эстрапады²³ стоял роскошный экипаж, и в этот экипаж села она!

Во время обеда г-жа Воке пошла задернуть занавеску, чтобы папаше Горио солнце не било в глаза.

– Господин Горио, вас любят красотки, – смотрите, как солнышко с вами играет. Черт возьми, у вас есть вкус, она прехорошенькая, – сказала вдова, намекая на его гостью.

– Это моя дочь, – ответил Горио с гордостью, которую нахлебники сочли просто самодовольством старика, соблюдавшего внешние приличия.

Спустя месяц со времени первого визита к Горио – последовал второй. Его дочь, которая была у него первый раз в простом утреннем платье, теперь явилась после обеда, в выездном наряде. Нахлебники, болтавшие в гостиной, имели случай полюбоваться на красивую, изящную блондинку с тонкой талией, слишком изысканную для дочери какого-то папаша Горио.

– Да их две! – заявила, не узнав ее, толстуха Сильвия.

Через несколько дней другая девица, высокая, хорошо сложенная брюнетка с живым взглядом, спросила г-на Горио.

– Да их три! – воскликнула Сильвия.

Вторая дочь навестила отца тоже утром, а несколько дней спустя приехала вечером в карете, одетая в бальный туалет.

– Целых четыре! – воскликнули г-жа Воке с толстухой Сильвией, не заметив в этой важной даме никакого сходства с просто одетой девицей, приходившей в первый раз утром.

Горио еще платил тогда за пансион тысячу двести франков. Г-жа Воке находила вполне естественным, что у богатого мужчины четыре или пять любовниц, а в его стремлении выдать

²³ Прадо – парижское здание, предназначенное для увеселительных целей.

их за своих дочерей усматривала даже большое хитроумие. Она нисколько не была в претензии, что он их принимал в «Доме Воке». Но так как этими посещениями объяснялось равнодушие пансионера к ее особе, вдова позволила себе в начале второго года дать ему кличку «старый кот». Когда же Горио скатился до девятисот франков, она, увидя одну из этих дам, сходившую с лестницы, спросила его очень нагло, во что он собирается превратить ее дом. Папаша Горио ответил, что эта дама его старшая дочь.

– Так у вас дочерей-то целых три дюжины, что ли? – съязвила г-жа Воке.

– Только две дочери, – ответил ей жилец смиренно, как человек разорившийся, дошедший до полной покорности из-за нужды.

К концу третьего года папаша Горио еще больше сократил свои траты, перейдя на четвертый этаж и ограничив расход на свое содержание сорока пятью франками в месяц. Он бросил нюхать табак, расстался с парикмахером и перестал пудрить волосы. Когда папаша Горио впервые явился ненапудренным, хозяйка ахнула от изумления, увидев цвет его волос – грязно-серый с зеленым оттенком. Его физиономия, становясь под гнетом тайных горестей день ото дня все печальнее, казалась самой удрученной из всех физиономий, красовавшихся за обеденным столом. Не оставалось никаких сомнений: папаша Горио – это старый распутник, только благодаря искусству врачей сохранивший свои глаза от коварного действия лекарств, неизбежных при его болезнях, а противный цвет его волос – следствие любовных излишеств и тех снадобий, которые он принимал, чтобы продлить эти излишества. Физическое и душевное состояние бедняги, казалось оправдывало этот вздор. Когда у Горио сносилось красивое белье, он заменил его бельем из коленкора, купленного по четырнадцать су за локоть. Бриллианты, золотая табакерка, цепочка, драгоценности – все ушло одно вслед за другим. Он расстался с васильковым фракком, со всем своим парадом и стал носить зимой и летом сюртук из грубого сукна коричневого цвета, жилет из козьей шерсти и серые штаны из толстого буксина. Горио все худел и худел; икры опали, лицо, расплывшееся в довольстве мещанского благополучия, необычайно сморщилось, челюсти резко обозначились, на лбу залегли складки. К концу четвертого года житья на улице Нев-Сент-Женевьев он стал сам на себя непохож. Милый вермишельщик шестидесяти двух лет, на вид не больше сорока, высокий, полный буржуа, моложавый до нелепости, с какой-то юною улыбкою на лице, радовавший прохожих своим веселым видом, теперь глядел семидесятилетним стариком, тупым, дрожащим, бледным. Сколько жизни светилось в голубых его глазах! – теперь они потухли, выцвели, стали серо-железного оттенка и больше не слезились, а красная закраина их век как будто сочилась кровью. Одним внушал он омерзение, другим – жалость. Юные студенты-медики, заметив, что нижняя губа у него отвисла, и смерив его лицевой угол, долго старались растормошить папашу Горио, но безуспешно, после чего определили, что он страдает кретинизмом.

Как то вечером, по окончании обеда, когда вдова Воке насмешливо спросила Горио: «Что ж это ваши дочки перестали навещать вас?» – ставя этим под сомнение его отцовство, папаша Горио вздрогнул так, словно хозяйка кольнула его железным острием.

– Иногда они заходят, – ответил он взволнованным голосом.

– Ах, вот как! Иногда вы их еще выдаете? – воскликнули студенты. Браво, папаша Горио!

Старик уже не слышал насмешек, вызванных его ответом: он снова впал в задумчивость, а те, кто наблюдал его поверхностно, считали ее старческим отупением, говоря, что он выжил из ума. Если бы они знали Горио близко, то, может быть, вопрос о состоянии его, душевном и физическом, заинтересовал бы их, хотя для них он был почти неразрешим. Навести справки о том, занимался ли Горио в действительности торговлей мучным товаром и каковы были размеры его богатства, конечно, не представляло затруднений, но люди старые, чье любопытство он мог бы пробудить, не выходили за пределы своего квартала и жили в пансионе, как устрицы, приросшие к своей скале. Что же касается до остальных, то стоило им выйти с улицы Нев-Сент-Женевьев, и сейчас же стремительность парижской жизни уносила воспоминанье о

бедном старике, предмете их глумлений. В понятии беспечных юношей и этих ограниченных людей такая горькая нужда, такое тупоумие папаши Горио не вязались ни с каким богатством, ни с какой дееспособностью. О женщинах, которых он выдавал за своих дочерей, каждый держался мнения г-жи Воке, которая с непререкаемой логикой старух, привыкших в часы вечерней болтовни судачить о чем угодно, говорила:

– Будь у папаши Горио дочери так же богаты, как были с виду дамы, приходившие к нему, разве стал бы он жить у меня в доме, на четвертом этаже, за сорок пять франков в месяц и ходить как нищий?

Подобных доводов ничем не опровергнешь. Таким образом, в конце ноября 1819 года, когда разыгралась эта драма, любой нахлебник в пансионе имел вполне установившееся мнение о бедном старике. Никакой жены, никаких дочерей у него никогда не было; злоупотребление удовольствиями превратило его в улитку, в человекообразного моллюска из отряда фуражконосных, как выразился «разовый» нахлебник, чиновник Естественноисторического музея... Даже Пуаре был орел, джентльмен в сравнении с Горио. Пуаре говорил, рассуждал, давал ответы; правда, в разговоре – и в рассуждениях, и в ответах – он ничего своего не выражал, ибо имел привычку повторять иными словами только то, что было сказано другими, но все же он способствовал беседе, в нем была жизнь, видимость каких-то чувств, а Горио, опять-таки по выражению музейного чиновника, стоял все время на точке замерзания.

Растиньяк, съездив домой, вернулся в настроении, хорошо знакомом молодым людям, если они очень способны вообще или если в них под действием тяжелых обстоятельств вдруг пробуждаются на короткий срок способности исключительных людей. В первый год своего пребывания в Париже, когда для получения начальных степеней на факультете еще не требуется усидчивой работы, Эжен располагал свободным временем, чтобы насладиться показательными прелестями Парижа. Студенту нехватит времени, если он намерен ознакомиться с репертуаром каждого театра, изучить все ходы и выходы в парижском лабиринте, узнать обычаи, перенять язык, привыкнуть к столичным удовольствиям, обегать все приличные и злачные места, послушать занимательные лекции и осмотреть музейные богатства. В это время он придает огромное значение всяким пустякам и страстно ими увлекается. У него есть свой великий человек, профессор из Коллеж де Франс, которому за то и платят, чтоб он держался на уровне своей аудитории. Студент выше подтягивает галстук и принимает красивые позы ради какой-либо женщины, сидящей в первом ярусе Комической оперы. Исподволь он входит в жизнь, обтесывается, расширяет свой кругозор и постигает, наконец, соотношение различных слоев в человеческом обществе. Начав заглядываться на вереницу колясок, движущихся при ярком солнце по Елисейским Полям, он скоро пожелает обзавестись своим выездом.

Эжен, не сознавая этого, успел пройти такую школу еще до того, как уехал на каникулы, получив степень бакалавра словесных и юридических наук. Его ребяческие иллюзии, его провинциальные воззрения исчезли, понятия изменились, а честолюбие безмерно разрослось, и, живя в родной усадьбе, в лоне своей семьи, на все смотрел он новым, трезвым взглядом. Его отец, мать, два брата, две сестры и тетка, все богатство которой заключалось в пенсии, жили в маленьком именье Растиньяк. Это поместье с доходом около трех тысяч франков зависело от шаткой экономики, господствующей в чисто промысловой культуре винограда, и, несмотря на это, требовалось ежегодно еще извлекать тысячу двести франков для Эжена. Он видел эту постоянную нужду, которую великодушно скрывали от него; невольно сравнивал своих сестер, которые казались ему в детстве такими красавицами, с парижскими женщинами, воплотившими лелеемый в его мечтах тип красоты; сознавал всю зыбкость будущего этой многочисленной семьи, которая надеялась всецело на него; замечал, с какой мелочной бережливостью заботливо припрятавались самые дешевые продукты;пил вместе со всей семьей напиток, приготовленный на виноградной кожуре; словом, множество обстоятельств, упоминание о коих здесь бесцельно, удесятерило его желанье преуспеть в жизни и возбудило жажду выдвинуться.

Как это свойственно великодушным людям, ему хотелось быть обязанным лишь собственным заслугам. Но он был южанин, до мозга костей южанин, поэтому на деле его решениям предстояло испытать те колебания, какие возникают у молодого человека, как только он очутится в открытом море, не зная, ни к какому берегу направить свои силы, ни под каким углом поставить паруса. Эжен первоначально собирался окунуться с головой в работу, но вскоре увлекся созданием нужных ему связей. Заметив, как велико влияние женщин в жизни общества, он сразу же задумал пуститься в высший свет, чтобы завоевать себе там покровительниц; а могло ли их не оказаться у молодого человека, остроумного и пылкого, когда вдобавок ум и пыл в нем подкреплялись изяществом осанки и какой-то нервической красотой, на которую так падки женщины? Эти мысли осаждали Растиньяка во время его блужданий по полям, где он в былое время так весело прогуливался с сестрами, теперь замечавшими в нем очень большую перемену. Его тетка г-жа де Марсийяк была когда-то при дворе и завела знакомства в верхах аристократического мира. Среди воспоминаний тетки, которыми она прежде так часто и так заманчиво делилась с ним, юных честолюбец вдруг усмотрел исходные позиции для своих побед в обществе, не менее важных, чем его успехи в Школе правоведения; он расспросил ее, какие родственные связи возможно снова завязать. Тряхнув ветви генеалогического дерева, старая дама решила, что среди эгоистического племени богатых родственников, изо всех родных, способных сослужить службу ее племяннику, виконтесса де Босеан, пожалуй, окажется наиболее отзывчивой. Она написала этой молодой даме письмо в старинном стиле и, передав его Эжену, сказала, что коль скоро он преуспеет у виконтессы, та пособит ему обрести вновь и других родственников. Спустя несколько дней по своем прибытии в Париж Растиньяк переслал тетушкино письмо г-же де Босеан. Виконтесса ответила приглашением на бал, назначенный на другой день.

Таково было положение дел в семейном пансионе к концу ноября 1819 года. Получив ответ на письмо, Эжен побывал на балу у г-жи де Босеан и пришел домой часа в два ночи. Чтобы нагнать потерянный вечер, студент еще во время танцев храбро давал себе обет работать до утра. Поддавшись чародейству ложной энергии, вспыхнувшей в нем при виде блеска светской жизни, он был готов впервые провести бессонную ночь в тиши своего квартала. В этот день он не обедал в пансионе. Таким образом, жильцы могли предполагать, что он вернется только на рассвете, как и случилось, когда он приходил с балов в Одеоне или вечеров в Прадо,²⁴ забрызгав грязью шелковые чулки и стоптав бальные туфли. Кристоф, прежде чем запереть дверь на засов, выглянул на улицу. Как раз в это мгновение явился Растиньяк и мог поэтому без шума взойти к себе наверх в сопровождении Кристофа, шумевшего довольно основательно. Эжен разделся, обулся в ночные туфли, надел плохонький сюртук, разжег торф в печке и приготовился к работе настолько быстро, что Кристоф стуком своих тяжелых башмаков заглушил и эти не очень шумные приготовления студента.

Прежде чем углубиться в юридические книги, Эжен несколько минут сидел задумавшись. Виконтесса де Босеан, с которой он только что свел знакомство, была одной из цариц парижского большого света, а дом ее слыл самым приятным в Сен-Жерменском предместье. Да и по имени и по богатству она принадлежала к верхам аристократического мира. Благодаря своей тетке де Марсийяк бедный студент был хорошо принят виконтессой, но сам не ведал, как много значила такая благосклонность: быть принятым в этих раззолоченных гостиных равнялось грамоте на высшее дворянство. Показав себя в самом замкнутом обществе, он завоевал право на вход куда угодно. Слепленный таким блестящим собранием, Эжен едва успел обменяться лишь несколькими фразами с г-жой де Босеан и удовольствовался тем, что среди толпы богинь Парижа, теснившихся на рауте, отметил для себя одну из тех, в которых юноши сразу же должны влюбляться. Высокая, хорошо сложенная графиня Анастази де Ресто славилась на весь

²⁴ Одеон – парижский драматический театр.

Париж красотой своего стана. Вообразите большие черные глаза, великолепные руки, точеные ноги, в движениях огонь, – женщину, которую маркиз де Ронкероль звал «чистокровной лошадью». Нервная утонченность не портила ничем ее красоты: все формы ее отличались полнотой и округлостью, не вызывая упрека в излишней толщине. «Чистокровная лошадь», «породистая женщина» – такие выражения стали вытеснять «небесных ангелов», «оссиановские лица»²⁵ – всю старую любовную мифологию, отвергнутую дендизмом. Но для Растиньяка графиня де Ресто являлась просто женщиной, притом желанной. В списке кавалеров, записанных у нее на веере, он обеспечил себе два танца и мог поговорить с ней в первом контрдансе.

– Где можно встретить вас, мадам? – спросил он напрямик, с той страстной силой, которая так нравится женщинам.

– Где?.. Хотя бы в Булонском лесу, у Буфонов,²⁶ у меня, всюду, ответила она.

И предприимчивый южанин постарался сблизиться с пленительной графиней, насколько это мыслимо для молодого человека за время контрданса и тура вальса. Считая свою даму «знатной дамой», Эжен отрекомендовался ей кузеном г-жи де Босеан, после чего графиня разрешила ему явиться к ней и бывать запросто. По ее улыбке на прощанье он заключил, что надо сделать ей визит. На свое счастье, он встретил человека, который не посмеялся его наивности, считавшейся смертным грехом в среде прославленных повес этой эпохи, всяких Моленкуров, Ронкеролей, Максимов де Трай, де Марсе, Ажуда-Пинто, Ванденесов, которые блистали безумным щегольством, вращаясь в обществе самых роскошных женщин – леди Брэндон, герцогини де Ланже, графини Кергаруэт, г-жи Серизи и г-жи де Ланти, герцогини де Карильяно, графини Ферро, маркизы д'Эглемон, г-жи Фирмиани, маркизы де Листомэр и маркизы д'Эспар, герцогини де Мофриньез и дам из семейства де Гранлье. Итак, по счастью, неопытный студент попал на маркиза де Монриво, любовника герцогини де Ланже, генерала, отличавшегося детским простодушием, который и сообщил ему, что графиня де Ресто живет на Гельдерской улице.

Быть молодым, мечтать о женщине, жаждать светской жизни и видеть, как перед тобой распахиваются двери двух домов; стать твердой ногой в Сен-Жерменском предместье у виконтессы де Босеан и преклонить колена на Шоссе д'Антен²⁷ перед графиней де Ресто, пронизывать взором анфиладу парижских салонов и считать себя достаточно красивым, чтобы найти там покровительство и помощь в женском сердце; чувствовать себя достаточно честлюбивым, чтобы одним неподражаемым прыжком вскочить на туго натянутый канат, итти по нему со смелостью никогда не падающего акробата и приобрести самый надежный балансир в лице обворожительной женщины! Кто бы, во власти таких дум и такой женщины, величественно возникавшей перед ним здесь – рядом с торфяной печкой, между нищетой и Сводом законов, – кто бы в своем раздумье не пытал грядущее, не видел впереди удачи, как Эжен? разгулявшаяся мысль так щедро давала векселя под будущие радости, что он уже воображал себя наедине с графиней де Ресто, но в это время стон, подобный скорбному вздоху св. Иосифа, нарушил молчанье ночи и отозвался в сердце молодого человека, как чей-то предсмертный хрип. Эжен тихонько открыл дверь и, выйдя в коридор, заметил полоску света под дверью папаши Горио. Опасаясь, не плохо ли его соседу, он приложил глаз к замочной скважине, заглянул в комнату и увидел старика за работой, казалось настолько подозрительной, что студент решил оказать услугу обществу, хорошенько выследив ночные махинации так называемого вермишельщика. Папаша Горио еще раньше перевернул стол вверх ногами и привязал к его перекладине большую чашку и блюдо из позолоченного серебра, а теперь эти предметы, украшенные богатой

²⁵ Оссиановские лица – то есть лица в духе образов «Поэм Оссиана», произведения шотландского поэта Джемса Макферсона (1736–1796). Макферсон представил читателям свое произведение, написанное им по мотивам шотландского народного творчества, как английский перевод песен легендарного шотландского певца Оссиана, жившего в III в. н. э.

²⁶ Буфоны – обиходное обозначение парижского театра Комической оперы, слившегося с 1807 г. с театром Итальянской комедии.

²⁷ Шоссе д'Антен – район Парижа, где во времена Бальзака жила финансовая буржуазия.

чеканкой, он обвивал чем-то вроде каната, стягивая так сильно, что свертывал их трубкой, повидимому для того, чтобы превратить в слитки.

«Ого! Каков мужчина! – подумал Растиньяк, глядя на жилистые руки старика, пока он с помощью веревки мят, как тесто, позолоченное серебро. Не вор ли он или сбытчик краденного, который только прикидывается немощным дурачком и живет, как нищий, чтобы спокойно заниматься своим промыслом?» спрашивал себя Эжен выпрямляясь.

Студент снова приник глазом к замочной скважине. Папаша Горио размотал канат, взял ком серебра, положил его на стол, предварительно накрытый одеялом, и стал катать, придавая форму круглой чурки, – операция, с которой он справлялся изумительно легко.

«Да, силы в нем, пожалуй, не меньше чем в польском короле Августе!» подумал Эжен, когда серебряная чурка стала почти круглой.

Папаша Горио печально глянул на дело рук своих, из глаз его потекли слезы, он задул витуую свечечку, при свете которой плющил серебро, и Растиньяк услышал, как он, вздохнув, улегся спать.

«Это сумасшедший», – подумал студент.

– Бедное дитя! – громко произнес папаша Горио.

После таких слов Эжен решил, что лучше помолчать об этом происшествии и не осуждать столь опрометчиво соседа. Студент хотел было уйти к себе, но вдруг он услышал еле уловимое шуршанье, – как если бы по лестнице поднимались люди, обутые в мягкие покромчатые туфли. Эжен напряг слух и тогда в самом деле отчетливо различил дыхание каких-то двух людей. Не услышав ни скрипа двери, ни людских шагов, он сразу увидел слабый свет на третьем этаже, в комнате Вотрена.

«Вот сколько тайн в семейном пансионе!» – произнес он про себя.

Спустившись на несколько ступенек, он прислушался, и до его уха долетел звон золота. Вскоре свет погас, и хотя дверь опять не скрипнула, снова послышалось дыхание двух человек. Затем, по мере того как оба они спускались с лестницы, звук, удаляясь, замирал.

– Кто там ходит? – крикнула г-жа Воке, раскрыв свое окно.

– Это я, мамаша Воке, иду к себе, – ответил тихим басом Вотрен.

«Странно! Ведь Кристоф запер на засов, – недоумевал Эжен, входя к себе в комнату. – В Париже, чтобы хорошо знать все, что творится вокруг, не следует спать по ночам».

Два этих небольших события отвлекли его от честолюбиво-любовного раздумья, и он уселся за работу. Однако внимание студента рассеивалось подозрениями насчет папаши Горио, а еще больше – образом графини де Ресто, ежеминутно возникавшей перед ним как вестница его блестящего предназначенья; в конце концов он лег в постель и заснул сразу как убитый. Когда юноши решают посвятить всю ночь труду, они в семи случаях из десяти предаются сну. Чтобы не спать ночами, надо быть старше двадцати лет.

На следующее утро в Париже стоял тот густой туман, который так все закутывает, заволакивает, что даже самые точные люди ошибаются во времени. Деловые встречи расстраиваются. Бьет полдень, а кажется, что только восемь часов утра. В половине десятого г-жа Воке еще не поднималась с постели. Кристоф и толстуха Сильвия, тоже с опозданием, мирно попиливали кофе со сливками, снятыми с молока, купленного для жильцов и подвергнутого Сильвией длительному кипячению, чтобы г-жа Воке не заметила такого незаконного побора.

– Сильвия, – обратился к ней Кристоф, макая в кофе первый свой гренок, – что там ни говори, а господин Вотрен человек хороший. Нынче ночью к нему опять приходили двое; ежели хозяйка станет справляться, ей ничего не надо говорить.

– А он дал что-нибудь тебе?

– Сто су за один месяц, – оно, значит, вроде как «помалкивай».

– Он да госпожа Кутюр одни не жмутся, а прочие так и норовят левой рукой взять обратно, что дают правой на Новый год, – сказала Сильвия.

– Да и дают-то что?! – заметил Кристоф. – Каких-нибудь сто су. Вот уже два года, как папаша Горио сам чистит себе башмаки. А этот скаред Пуаре обходится без ваксы; да он ее скорее вылижет, чем станет чистить ею свои шлепанцы. Что же до этого щуплого студента, так он дает мне сорок су. А мне дороже стоят одни щетки, да вдобавок он сам торгует своим старым платьем. Ну и трущоба!

– Это еще что! – ответила Сильвия, попивая маленькими глотками кофе. Наше место как-никак лучшее в квартале; жить можно. А вот что, Кристоф... я опять насчет почтенного дядюшки Вотрена – с тобой ни о чем не говорили?

– Было дело. Тут на-днях повстречался я на улице с одним господином, а он и говорит мне: «Не у вас ли проживает толстый господин, что красит свои баки?» А я ему на это: «Нет, сударь, он их не красит. Такому весельчаку не до того». Я, значит, доложил об этом господину Вотрену, а он сказал: «Хорошо сказано, паренек! Так всегда и отвечай. Чего уж неприятнее, как ежели узнают о твоих слабостях. От этого, глядишь, и брак расстроился».

– Да и ко мне на рынке подъезжали, не видела ли, дескать, я его, когда он надевает рубашку. Прямо смех! Слышишь, – сказала она, прерывая себя, – на Валь-де-Грас пробило уже без четверти десять, а никто и не шелохнется.

– Хватилась! Да никого и нет. Госпожа Кутюр со своей девицей еще с восьми часов пошли к причастию к святому Этьену. Папаша Горио вышел с каким-то свертком. Студент вернется только в десять, после лекций. Я убирал лестницу и видел, как они уходили, еще папаша Горио задел меня своим свертком, твердым, как железо. И чем он только промышляет, этот старикашка? Другие его гоняют, как кубарь, а все-таки он человек хороший, лучше их всех. Дает-то он пустяки, зато уж дамы, к которым он посылает меня иной раз, отваливают на водку – знай наших, ну, да и сами разодеты хоть куда.

– Уж не те ли, что он зовет своими дочками? Их целая дюжина.

– Я ходил только к двум, тем самым, что приходили сюда.

– Никак хозяйка завозилась; поднимет сейчас гам, надо итти. Кристоф, постереги-ка молоко от кошки.

Сильвия поднялась к хозяйке.

– Что это значит, Сильвия? Без четверти десять, я сплю, как сурок, а вам и горя мало. Никогда не бывало ничего подобного.

– Это все туман, такой, что хоть ножом его режь.

– А завтрак?

– Куда там! В ваших жильцов, видно бес вселился, – они улепетнули ни свет ни пора.

– Выражайся правильно, Сильвия, – заметила г-жа Воке, – говорят: ни свет ни заря.

– Ладно, буду говорить по-вашему. А завтракать можете в десять часов. Мишонетка и ее Порей еще не ворошились. Только их и в доме, да и те спят, как колоды; колоды и есть.

– Однако, Сильвия, ты их соединяешь вместе, словно...

– Словно что? – подхватила Сильвия, заливаясь глупым смехом. – Из двух выходит пара.

– Странно, Сильвия, как это господин Вотрен вошел сегодня ночью, когда Кристоф уже запер на засов?

– Даже совсем напротив, сударыня. Он услышал господина Вотрена и сошел вниз отпереть ему. А вы уж надумали...

– Дай мне кофту и поживее займись завтраком. Приготовь остатки баранины с картофелем и подай вареных груш, что по два лиара штука.

Через несколько минут Воке сошла вниз, как раз в то время, когда кот ударом лапы сдвинул тарелку, накрывавшую чашку с молоком, и торопливо лакал его.

– Мистигри! – крикнула Воке.

Кот удрал, но затем вернулся и стал тереться об ее ноги.

– Да, да, подмазывайся, старый подлюга! – сказала ему хозяйка. Сильвия! Сильвия!

- Ну! чего еще, сударыня?
 - Смотри-ка, сколько вылакал кот!
 - Это скотина Кристоф виноват, я же ему сказала накрыть на стол. Куда это он запропастился? Не беспокойтесь, сударыня; это молоко пойдет для кофе папаши Горио. Подолью воды, он и не заметит. Он ничего не замечает, даже что есть.
 - Куда пошел этот шут гороховый? – спросила г-жа Воке, расставляя тарелки.
 - Кто его ведает, где его черти носят?
 - Переспала я, – заметила г-жа Воке.
 - А свежи, как роза...
- В эту минуту послышался звонок, и в столовую вошел Вотрен, напевая басом:

Объехал я весь белый свет
И счастлив был необычайно...

- Хо! Хо! Доброе утро, мамаша Воке, – сказал он, заметив хозяйку и игриво заключая ее в объятия.
- Ну же, бросьте...
- Скажите: «Нахал!» Говорите же! Вам ведь хочется сказать?.. Ну, так и быть, помогу вам накрывать на стол. Разве я не мил, а?

Блондинок и брюнеток цвет
Умел везде срывать...

Сейчас я видел нечто странное...

случайно...

- А что? – спросила вдова.
 - Папаша Горио был в половине девятого на улице Дофины у ювелира, который скупает старое столовое серебро и галуны. Он продал ему за кругленькую сумму какой-то домашний предмет из золоченого серебра, сплюсненный очень здорово для человека без сноровки.
 - Да ну, в самом деле?
 - Да. Я шел домой, проводив одного своего приятеля, который уезжает совсем из Франции через посредство Компании почтовых сообщений; я дождался папаши Горио, чтобы понаблюдать за ним, – так, для смеху. Он вернулся в наш квартал, на улицу де-Грэ, где и вошел в дом к известному ростовщику по имени Гобсек, – плут, каких мало, способен сделать костяшки для домино из костей родного отца; это – еврей, араб, грек, цыган, но обокрасть его дело мудреное: денежки свои он держит в банке.
 - А чем же занимается папаша Горио?
 - А тем, что разоряется, – ответил Вотрен. – Этот болван настолько глуп, что тратится на девочек, а они...
 - Вот он! – сказала Сильвия.
 - Кристоф, – кликнул папаша Горио, – поднимись ко мне!
- Кристоф последовал за Горио и вскоре сошел вниз.
- Ты куда? – спросила г-жа Воке слугу.
 - По поручению господина Горио.
 - А это что такое? – сказал Вотрен, вырывая из рук Кристофа письмо, на котором было написано: Графине Анастази де Ресто. – Куда идешь? – спросил Вотрен, отдавая письмо Кристофу.

– На Гельдерскую улицу. Мне велено отдать это письмо графине в собственные руки.

– А что это там внутри?! – сказал Вотрен, рассматривая письмо на свет. – Банковский билет?.. Не то! – Он приоткрыл конверт. – Погашенный вексель! – воскликнул он. – Вот так штука! Любезен же старый дуралей. Иди, ловкач, сказал он, накрывая своей лапой голову Кристофа и перевертывая его, как волчок, – тебе здорово дадут на водку.

Стол был накрыт. Сильвия кипятила молоко. Г-жа Воке разводила огонь в печке; хозяйке помогал Вотрен, все время напевая:

Объехал я весь белый свет
И счастлив был необычайно...

Когда все было уже готово, вернулись г-жа Кутюр и мадмуазель Тайфер.

– Откуда вы так рано, дорогая? – спросила у г-жи Кутюр г-жа Воке.

– Мы с ней молились у святого Этьена дю-Мон; ведь сегодня нам предстоит идти к господину Тайферу. Бедная девочка дрожит, как лист, – отвечала г-жа Кутюр, усаживаясь против печки и протягивая к топке свои ноги, обутые в ботинки, от которых пошел пар.

– Погрейтесь, Викторина, – предложила г-жа Воке.

– Просить бога, чтобы он смягчил сердце вашего отца, дело хорошее, сказал Вотрен, подавая стул сироте. – Но этого мало. Вам нужен друг, чтобы он выложил все начистоту этой свинье, этому дикарю, у которого, говорят, три миллиона, а он не дает вам приданого. По теперешним временам и красивой девушке приданое необходимо.

– Бедный ребенок, – посочувствовала г-жа Воке. – Послушайте, моя голубка, ваш отец – чудовище. Он накликает на себя всяких бед.

При этих словах на глаза Викторины навернулись слезы, и вдова замолчала, заметив знак, сделанный ей г-жой Кутюр.

– Хоть бы нам удалось повидать его, хоть бы я могла поговорить с ним и передать ему прощальное письмо его жены! – снова начала вдова интендантского комиссара. – Я не рискнула послать письмо по почте; он знает мой почерк.

– О женщины невинные, несчастные, гонимые, – воскликнул Вотрен, перебив ее, – до чего же вы дошли! На-днях я займусь вашими делами, и все пойдет на лад.

– О господин Вотрен, – обратилась к нему Викторина, бросая на него влажный и горячий взгляд, не возмущивший, впрочем, спокойствия Вотрена, – если у вас окажется возможность повидать моего отца, передайте ему, что его любовь и честь моей матери мне дороже всех богатств мира. Если бы вам удалось смягчить его суровость, я стала бы молиться за вас богу. Будьте уверены в признательности...

– «Объехал я весь белый свет...» – иронически пропел Вотрен.

В этот момент спустились вниз Пуаре, мадмуазель Мишоно и Горио, вероятно привлеченные запахом подливки, которую готовила Сильвия к остаткам баранины. Когда нахлебники, приветствуя друг друга, сели за стол, пробило десять часов, и с улицы послышались шаги студента.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.